

11111

Annotation

Роман "Евангелистка" рассказывает о девушке, попавшей под влияние религиозных фанатиков (тоталитарная секта) и ее отношениях со своей мамой и остальным окружающим миром.

- [Альфонс Доде](#)
 - [I. БАБУШКА](#)
 - [II. ЧИНОВНИК](#)
 - [III. ЭЛИНА ЭПСЕН](#)
 - [IV. УТРЕННИЕ ЧАСЫ](#)
 - [V. ОСОБНЯК ОТМАНОВ](#)
 - [VI. ШЛЮЗЫ](#)
 - [VII. ПОР-СОВЕР](#)
 - [VIII. ИСПОВЕДЬ ВАТСОН](#)
 - [IX. НА САМОЙ ВЕРШИНЕ](#)
 - [X. ОБИТЕЛЬ](#)
 - [XI. СОВРАЩЕНИЕ](#)
 - [XII. РОМЕН И СИЛЬВАНИРА](#)
 - [XIII. СЛИШКОМ БОГАТЫ](#)
 - [XIV. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО](#)
 - [XV. В ХРАМЕ ОРАТОРИИ](#)
 - [XVI. СКАМЕЙКА ГАБРИЭЛЬ](#)
 - [XVII. БУДЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА...НЕ РАССТАНЕМСЯ НИКОГДА...](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Альфонс Доде

Евангелистка

*Посвящаю это исследование блестящему ученому,
профессору Ж. М. Шарко, врачу Сальпетриер.*

А. Д.

I. БАБУШКА

В сумерках они возвратились с кладбища в маленький домик на улице Валь-де-Грас. Бабушку только что похоронили, и, когда друзья разошлись, г-жа Эпсен с дочерью остались одни в тесной, опустевшей квартирке, где всякая мелочь напоминала об умершей; теперь им еще яснее представился весь ужас постигшего их несчастья. Даже там, на Монпарнасском кладбище, над раскрытой могилой, поглотившей родное существо, они не ощущали с такой остротой горечь непоправимой утраты, тоску вечной разлуки, как здесь, в уголке, у окна, перед пустым креслом. Теперь им казалось, будто бабушка умерла во второй раз.

Г-жа Эпсен, тяжело опустившись на стул, застыла неподвижно в своем траурном шерстяном платье, не в силах сбросить шаль и снять шляпку с густой креповой вуалью, обрамлявшей жесткими складками ее широкое, доброе, заплаканное лицо. Затем, шумно сморкаясь, вытирая распухшие от слез глаза, она начинает громко причитать и восхвалять доброту покойницы, ее веселый нрав, ее мужество, вспоминает разные случаи из своей жизни, из жизни дочери. Слушая, ее бесхитростные жалобы, даже посторонний мог бы узнать всю историю их семьи: он узнал бы, что двадцать лет назад г-н Эпсен, разорившийся на изобретениях датский инженер, приехал из Копенгагена в Париж хлопотать о патенте на электрические часы и что, потерпев неудачу, изобретатель внезапно умер, оставив в номере гостиницы беременную жену со старенькой матерью без всяких средств к жизни.

Ох, что бы случилось тогда с нею без бабушки, без ее вязального крючка! Старая датчанка неутомимо, днем и ночью вязала кружева, скатерти, гипюровые накидки, в те времена редкостные в Париже, и продавала свое рукоделье галантерейным торговцам. Бабушка поставила семью на ноги, наняла кормилицу для малютки Элины, но сколько же ей пришлось связать тонких кружев, сколько узорчатых салфеточек, от которых слепли ее глаза! Бедная, милая бабушка!.. Причитания г-жи Эпсен прерываются горьким плачем, ласковыми детскими прозвищами, какие только приходят на память осиротевшей женщине и кажутся особенно трогательными из-за резкого иностранного акцента, от которого за двадцать лет жизни в Париже она так и не сумела избавиться.

Ее девятнадцатилетняя дочь выражает свое горе более сдержанно. Стиснув зубы, бледная, спокойная, Элина принимается наводить порядок в

доме. Черное траурное платье, облегающее гибкую, несколько полную фигуру девушки, оттеняет ее цветущую юность и блеск густых золотистых волос. Уверенно, неторопливо, как умелая хозяйка, она раздувает огонь в камине» потухший за время их отсутствия, задергивает занавески, зажигает лампу, чтобы гостиная не казалась такой холодной и мрачной; потом бережно снимает шаль и шляпку с матери, продолжающей всхлипывать и причитать, надевает ей теплые туфли вместо промокших, грязных от кладбищенской земли башмаков и, взяв ее за руку, как ребенка, насильно подводит к столу, на котором дымит суп в расписанной цветами миске и два горячих блюда из ресторана. Г-жа Эпсен протестует. Обедать? О нет, ни за что! Она совсем не голодна; к тому же один вид этого столика, где недостает третьего прибора...

— Не надо, Лина, *прошу* тебя!

— Нет, нужно, непременно нужно.

Элина твердо решила в первый же вечер накрыть обед здесь, на обычном месте, ничего не менять в их привычках, — она знала, что потом будет еще тяжелее вернуться к прежнему укладу. И до чего же умно поступила эта кроткая, рассудительная девушка! В тепле уютной гостиной, озаренной светом лампы и огнем камина, сердечная боль несчастной матери понемногу утихает. Как всегда бывает после сильных потрясений, г-жа Эпсен ест с большим аппетитом, мало-помалу успокаивается, мысли ее принимают другое направление. Ведь она, право же, сделала все, чтобы старушке было хорошо, чтобы та ни в чем не нуждалась до последнего дня. А каким утешением было дружеское участие в тяжелые минуты! Сколько народу пришло на эти скромные похороны! Процессия растянулась по всей улице. Приехали все ее прежние ученицы: Леони д'Арло, баронесса Герспах, Полина и Луиза де Лостанд — все, все до единой. А надгробное слово говорил пастор Оссандон — такой чести он теперь не удостоивает и богачей ни за какие деньги, — декан богословского факультета Оссандон, знаменитый проповедник протестантской церкви, которого в Париже не слышали вот уже пятнадцать лет. Как прекрасны были его слова о семейной привязанности, как трогательно он говорил о бабушке, этой стойкой женщине, которая в преклонных годах покинула родную страну, чтобы последовать за своими детьми, чтобы не расставаться с ними ни на один день!

— *Ни на один* тень... — Г-жа Эпсен вздыхает и снова заливается слезами при воспоминании о речи пастора. Обхватив обеими руками свою взрослую дочь, она со стоном восклицает:

— Мы будем крепко любить друг друга, Линетта, мы не расстанемся

никогда.

Прильнув к матери, ласково глядя ее седеющие волосы, Элина отвечает тихим, нежным голосом, боясь разрыдаться:

— Никогда! Ты же знаешь, никогда...

Теплая комната, сытный обед после трех бессонных ночей, после стольких слез... Наконец-то бедная мама заснула. Неслышно ступая, Элина уносит посуду со стола, прибирает в доме, где после внезапно постигшего их несчастья все брошено в беспорядке. Она пытается заглушить свое горе работой, хлопотами по хозяйству. Но, подойдя к оконной нише с приподнятой занавеской, где бабушка проводила все свои дни, Элина замирает; у нее не хватает духу убрать эти знакомые, привычные вещицы, еще хранящие отпечаток дрожащих старческих пальцев: ножницы, очки, вынутые из футляра, закладку в томике Андерсена, начатое вязанье с воткнутым крючком, торчащее из ящика рабочего столика, кружевной чепчик с длинными лиловыми лентами, висящий на оконной задвижке.

Элина останавливается в раздумье.

Все ее детство связано с этим уголком у окна. Здесь бабушка учила ее чтению и рукоделию. Пока г-жа Эпсен бегала по городу и давала уроки, малышка Лина сидела на скамеечке у ног старой датчанки, и та говорила ей о своей родине, рассказывала сказки северных народов, напевала морскую песню о короле Христиане — ведь ее покойный муж был капитаном корабля. Позднее, когда Элина сама стала зарабатывать, она по-прежнему приходила сюда по вечерам и усаживалась на той же скамеечке. Бабушка, видя ее на привычном месте, говорила с ней так же ласково и покровительственно, как в детстве. В последние годы, когда память старушки начала слабеть, ей случалось называть Лину именем г-жи Эпсен. «Элизабет», вспоминать ее покойного мужа, путать внучку с дочерью, смешивая два родных существа в одном общем чувстве материнской любви. Когда ее тихонько поправляли, бабушка добродушно смеялась. Неужели все кончено, неужели Элина никогда больше не увидит ее милого лица в чепчике с оборками, озаренного ясной детской улыбкой? Эта мысль лишает ее мужества. Она дает волю слезам, которые стыдливо сдерживала с самого утра, боясь расстроить мать и стесняясь горячего сочувствия окружающих; вся дрожа, со стонами и рыданиями девушка убегает в соседнюю комнату.

Тут окно раскрыто настежь. Ночную мглу прорезают порывы холодного сырого ветра; бледный свет мартовской луны, вливаясь в комнату, освещает неубранную постель и два стула друг против друга, на которых утром стоял гроб, когда пастор по лютеранскому обычаю

произносил надгробное слово на дому у покойницы. Здесь нет беспорядка, здесь ничто не напоминает спальню тяжелобольной, долго пролежавшей в постели. Видно, что смерть наступила внезапно, неожиданно. Бабушка приходила сюда только спать, а в эту ночь забылась более глубоким, более долгим сном — только и всего. Она вообще не любила этой комнаты, «слишком унылой», по ее словам: здесь царила тишина, ненавистная старым людям, а из окна были видны только деревья в саду г-на Оссандона и в саду больницы глухонемых да колокольня церкви св. Иакова. Старая датчанка не любила зелени и камней, подлинной красоты Парижа, и предпочитала свой уголок в гостиной, откуда открывался вид на оживленную улицу. Здесь, в спальне бабушки, Элина перестает плакать. Не потому ли, что перед ее глазами глубокий, беспредельный свод неба, покрытого зыбкими, пенистыми, как волны, облаками? Сквозь раскрытое окно ее печаль устремляется на простор, возносится, растворяется. Ей чудится, будто туда, ввысь, отлетела родная душа, и девушка пытливо всматривается в мглистые облака, в бледные просветы ночного неба.

— Родная! Где ты? Видишь ли ты меня?

Элина тихонько зовет ее, долго говорит с ней, о чем-то молится... Раздается бой часов на колокольне св. Иакова, на башне церкви Валь-де-Грас, от ночного ветра скрипят голые деревья, в несмолкаемый гул Парижа врываются свистки паровоза, гудки городской конки... Помолившись, Элина отходит от оконной решетки, затворяет окошко и возвращается в гостиную, где ее мать по-прежнему спит младенческим сном, всхлипывая и вздыхая. Глядя на ее доброе, заплаканное лицо с милыми морщинками, с припухшими веками, Элина думает о том, какой она всегда была самоотверженной, преданной, как бодро и мужественно несла свое тяжелое бремя: воспитывала ребенка, кормила семью, работала за мужчину — и никогда ни единой жалобы, ни одной вспышки гнева. Сердце девушки переполняется нежностью, горячей благодарностью; она дает себе слово посвятить всю жизнь заботам о матери и еще раз повторяет клятву «крепко любить ее, не расставаться никогда».

Кто-то тихонько стучится в дверь. Входит девочка лет семи-восьми в черном школьном фартучке, с гладкими волосами, перевязанными надолбом светлой лентой.

— Это ты, Фанни? Сегодня урока не будет, — говорит Элина, подходя к самой двери, чтобы не разбудить мать.

— Я знаю, мадемуазель! — отвечает девочка, украдкой скосив глаза на бабушкино кресло: ей любопытно посмотреть, меняется ли комната, когда кто-то умирает. — Я знаю, но папа все-таки велел мне подняться сюда и

поцеловать вас — ведь у вас такое большое горе!

— Ах ты, моя милочка!..

Обхватив головку девочки, Элина с искренней нежностью прижимает ее к себе.

— До свиданья, Фанни, приходи завтра!.. Погоди, я посвечу тебе, на лестнице темно.

Высоко подняв лампу, она наклоняется над перилами, чтобы осветить лестницу, ведущую в нижний этаж; внизу, на темной площадке, кто-то стоит у дверей.

— Это вы, господин Лори?

— Да, это я, мадемуазель, я жду... Скорее, Фанни!

Робко подняв глаза на красивую девушку, на ее светлые пушистые волосы, отливающие золотом в лучах лампы, он начинает объяснять в длинных, витиеватых выражениях, цветистых, точно пышный надгробный веночек, что не осмелился прийти сам и лично выразить свое глубокое соболезнование, принести дань скорби... Но вдруг, прервав высокопарные, банальные фразы, он говорит простые слова:

— Всем сердцем сочувствую вашему горю, мадемуазель Элина.

— Благодарю вас, господин Лори.

Он берет за руку дочку, Элина возвращается к себе, и обе двери, на первом и втором этажах, захлопываются одновременно с одинаковым стуком.

II. ЧИНОВНИК

Прошло уже месяцев пять с тех пор как семейство Лори поселилось в доме, но любопытство, вызванное их странным появлением, все еще не улеглось. Тихая улица Валь-де-Грас напоминает улицу провинциального городка: здесь над монастырскими стенами возвышаются кроны деревьев, кумушки судачат у ворот, а по мостовой бегают кошки и собаки, спокойно разгуливают голуби, не боясь колес экипажей. Новые жильцы приехали в октябре, ранним утром, под проливным дождем, хлынувшим как назло в день переезда. Соседи увидели высокого господина в черном, с крепом на шляпе, с чиновничьими баками, еще не старого, но серьезного и степенного не по годам. За ним шли загорелый мальчик лет двенадцати в морской фуражке с якорем и золотым галуном и маленькая девочка, которую вела за руку няня в беррийском чепце, тоже вся в черном, такая же загорелая, как ее господина. За ними следом ехала повозка, полная сундуков, ящиков и огромных тюков.

— А где же мебель? — спросила привратница, помогая переносить вещи.

— Мебели нет, — спокойно отвечала служанка.

Так как новые жильцы уплатили за квартал вперед, пришлось удовольствоваться этим ответом. На чем спали новые соседи? За каким столом обедали? На чем сидели? Никто не мог разрешить эту загадку, ибо двери квартиры лишь слегка приотворялись, а на окнах, выходящих на улицу и в сад, хоть и не было занавесок, но всегда были спущены жалюзи. Сам хозяин в длинном, наглухо застегнутом сюртуке казался таким суровым, что его никто не посмел бы расспрашивать; к тому же он почти не бывал дома — деловито уходил рано утром с кожаным портфелем под мышкой и возвращался только к ночи. Ну, а к их рослой, дородной служанке с могучей грудью кормилицы тоже не решались подступиться: она умела так оборвать любопытных, так тряхнуть юбками, так бесцеремонно повернуться задом, что ее побаивались. Во время прогулок мальчик шел впереди няни, а девочка цеплялась за ее подол; когда же служанка отправлялась в прачечную с тяжелым узлом белья, то запирала детей на ключ. К новым жильцам никто не приходил в гости. Только два-три раза в неделю их навещал какой-то низенький, щуплый человечек в черной соломенной шляпе, с большой корзиной в руках, с виду не то бывший матрос, не то портовый рабочий. Одним словом, о них никто

ничего не знал, кроме того, что главу семьи звали Лори — Дюфрен, как о том свидетельствовала прибитая к дверям визитная карточка:

ШАРЛЬ ЛОРИ-ДЮФРЕН Супрефект в Шершеле *Алжир*

Все, кроме имени, было зачеркнуто, словно нехотя, тонкой неровной чертой.

Дело в том, что его недавно уволили, и вот при каких обстоятельствах. Получив назначение в Алжир в последние дни империи, Лори-Дюфрен удержался на посту при новом правительстве лишь потому, что находился далеко за морем. Впрочем, не имея, как большинство чиновников, твердых убеждений, он готов был служить республике так же усердно и ревностно, как служил империи, лишь бы остаться на прежней должности. Дешевая жизнь в чудесной стране, дворец супрефектуры среди апельсиновых и банановых рощ, спускающихся к морю, целый штат чаушей и спаги, которые мчались исполнять малейшее его приказание в своих развевающихся плащах, ярких, как огненные крылья фламинго, верховые и упряжные лошади, предоставляемые к услугам супрефекта для дальних разъездов, — право же, ради всего этого стоило поступиться личными убеждениями.

Удержавшись на месте Шестнадцатого мая,^[1] Лори лишь после ухода Мак-Магона понял, насколько шатко его положение; однако он и на этот раз уцелел благодаря новому префекту, г-ну Шемино. Г-н Шемино, бывший поверенный в Бурже, холодный, ловкий, изворотливый чиновник, лет на десять старше Лори-Дюфрена, служившего там же советником префектуры, казался ему в то время идеалом, которому он невольно старался подражать, как всякий юноша в том возрасте, когда необходимо кого-нибудь или что-нибудь принять за образец. Он отпустил бакенбарды, чтобы походить лицом на своего кумира, перенял его степенные манеры, тонкую улыбку, даже привычку крутить пенсне на кончике пальца. Когда через много лет они встретились в Алжире, г-н Шемино как бы узнал самого себя в молодости, только у него никогда не было такого наивного, открытого взгляда. Благодаря этому лестному сходству Лори удостоился покровительства старого холостяка, такого же черствого и жесткого, как гербовая бумага, на которой тот писал когда-то официальные документы.

К несчастью, после нескольких лет жизни в Шершеле г-жа Лори захворала. Тяжелая женская болезнь в этой знойной стране, где все растет и развивается с ужасающей быстротой, грозила свести ее в могилу за несколько месяцев. Необходимо было немедленно переселиться во

Францию, в умеренный влажный климат, чтобы задержать течение болезни и спасти жизнь дорогого всем существа. Лори собирался хлопотать о переводе из Алжира, но префект отговорил его. Надо радоваться, что министерство о нем забыло; незачем самому в петлю лезть: «Потерпите еще... Когда я сам вернусь в метрополию, вы переплывете море вместе со мной».

Бедная женщина уехала одна и нашла пристанище у дальних родственников в туренском городке Амбуазе. Даже детей она не могла взять с собою, ибо Гайетоны, старая бездетная чета, терпеть не могли малышей и боялись пустить их в свой чистенький домик, точно это была дикая орда или саранча. Больной пришлось примириться с разлукой, чтобы не упустить возможности отдохнуть в чудной местности, в домашней обстановке, что стоило дешевле, чем пансион в гостинице. К тому же ее одиночество не могло тянуться долго, — Шемино не такой человек, чтобы застрять в Алжире. «И я переплыву море вместе с ним...» — говорил Лори-Дюфрен, любивший повторять слова своего начальника.

Но месяцы шли, а бедняжка по-прежнему томилась без мужа, без детей, терпела идиотские придирки хозяев, мучительные приступы болезни. Каждую неделю от нее приходили из-за моря раздирающие душу письма, жалобные призывы: «Муж мой!.. Детки мои!» И каждый почтовый день, каждый четверг несчастный супрефект, весь дрожа от волнения, вплоть до кончиков бакенбард, высматривал в подзорную трубу прибывавший из Франции пакетбот. В ответ на последнее письмо, самое отчаянное из всех, Лори наконец решился: он сел на пароход и переправился во Францию, считая, что личное свидание с министром в данном случае менее опасно, чем письменное прошение. Можно по крайней мере оправдаться, защитить себя; всегда легче подписать смертный приговор заочно, чем объявить его в лицо осужденному. Лори правильно рассудил. По счастливой случайности министр оказался человеком добрым, еще не успевшим зачерстветь в политических интригах, и, оторвавшись от кипы официальных бумаг, он выслушал с живым участием эту трогательную семейную историю.

— Возвращайтесь в Шершель, дорогой господин Лори... При первом продвижении по службе ваша просьба будет уважена.

Выйдя из двора министерства на площади Бово, супрефект вне себя от радости вскочил в карету и поспешил к вокзалу на туренский поезд. Но в Амбуазе его ждало горькое разочарование. Он застал жену на кушетке, к которой она давно уже была прикована; бедная затворница целыми днями лежала у окна, с грустью устремив глаза на массивную круглую башню

мрачного Амбуазского замка. С некоторых пор она жила не в доме Гайетонов, а рядом, у их арендатора, который работал на примыкавшем к саду винограднике.

Когда ей стало хуже, г-жа Гайетон испугалась, как бы не пострадала ее мебель и натертый паркет от пролитых лекарств, от масла ночной лампы, от неизбежного беспорядка в комнате больной. Старая хозяйка, запыхавшаяся, растрепанная, с утра до вечера наводила чистоту, не расставалась с метлой и щеткой, полировала мебель, вощила полы, ползая на четвереньках в рваной зеленой юбке, выбивалась из сил, чтобы все блестело в их белом кокетливом, типично туренском домике с горшками красной герани на каждом окне. Хозяин с не меньшим усердием наводил порядок в саду и, провожая супрефекта к больной жене, заставлял его восхищаться ровной линией бордюров, яркостью цветов и гляncем листьев, таких блестящих, будто с них только что отряхнула пыль своей метелкой г-жа Гайетон.

— Вы сами понимаете, что детей сюда пускать нельзя... Ну, вот мы и пришли... Вы найдете, что ваша супруга сильно изменилась.

Да, она изменилась, побледнела, щеки у нее впали, большое, исхудавшее тело в широком длинном капоте казалось плоским, как доска. Но Лори не сразу заметил это, ибо при виде любимого мужа бедняжка раздумялась от радости, похорошела и помолодела, словно вернулись ее юные годы. Как пылко они обнялись, когда хозяин ушел работать в сад и они остались вдвоем! Наконец-то она дождалась мужа, она держит его в объятиях, может поцеловать его перед смертью. А как дети, Морис, Фанни? Хорошо ли заботится о них няня Сильванира? Должно быть, они очень выросли? Как это жестоко, что к ней не пускают даже малютку Фанни!

И она шептала еле слышно на ухо мужу, остерегаясь Гайетона, который скреб граблями под самым окном:

— Ох, увези меня, возьми меня отсюда!.. Если бы ты знал, как мне тоскливо здесь одной, как давит меня эта громадная башня! Мне все чудится, будто она загораживает вас от меня!

Больная рассказывала о мелочных придирках скупых хозяев, о том, как эти маньяки трясутся над каждым куском сахара, над каждым ломтем хлеба, как ворчат, если деньги за пансион запаздывают хоть на один день, жаловалась на арендаторшу, которая делает ей больно, переноса ее на кровать своими загрубелыми руками, изливала все свои обиды, все огорчения за целый год. Лори успокаивал жену, увещевал, пытаясь скрыть свое волнение и тревогу, напоминал ей слова министра: «При первом же продвижении по службе...», а ведь в последнее время такие продвижения

случаются довольно часто. Через месяц, через неделю, может быть, даже завтра, в «Правительственном вестнике» будет напечатано о его новом назначении. И бедняга строил широкие планы, говорил о счастливом будущем, о полном выздоровлении, богатстве, блестящей карьере — о чем только не мечтал этот незадачливый фантазер, который сумел перенять от хитрого Шемино лишь чиновничьи баки да внушительные манеры! Бедная женщина, убаюканная его словами, жадно слушала, склонив голову ему на плечо, и верила всему, стараясь не замечать приступов мучительной, ноющей боли.

На другое утро, чудесное ясное утро, какие часто бывают на берегах Луары, супруги завтракали вдвоем у открытого окна, и больная, лежа в постели, рассматривала карточки детей, как вдруг на деревянной лестнице раздался скрип тяжелых башмаков Гайетона. Он держал в руках «Правительственный вестник», который выписывал по старой привычке, как бывший регистратор коммерческого суда, и имел обыкновение внимательно прочитывать от доски до доски.

— Ну вот вы и дождались продвижения... Вас уволили.

Он выпалил это грубым тоном, без тени почтительности, с какой еще вчера обращался к гостю — важному правительственному чиновнику. Лори схватил было газету, но тут же выронил и бросился утешать жену, которая сразу побелела как полотно.

— Нет, нет... Они что-то напутали, это ошибка!

Он еще поспеет на курьерский поезд, через четыре часа будет в министерстве, и все объяснится. Однако, увидев ее мертвенно-бледное, изменившееся лицо с бескровными губами, Лори испугался и решил подождать прихода врача.

— Нет... Поезжай сейчас же! — настаивала больная.

Она уверяла, что чувствует себя гораздо лучше, а затем, желая успокоить мужа, собрав последние силы, крепко обняла его на прощанье.

В этот вечер Лори-Дюфрен приехал на площадь Бово слишком поздно. Назавтра у его превосходительства не было приема. На третий день, после двух часов ожидания, Лори наконец приняли, но в кабинете вместо министра его встретил Шемино в визитке, который держался здесь по-хозяйски, как у себя дома.

— Да, да, это я, милейший... На новой должности... С нынешнего дня... Вас бы тоже перевели сюда, если бы вы меня послушались... Но вы предпочли поступить по — своему и сами полезли в петлю... Что ж, теперь пеняйте на себя.

— Но я полагал... Мне же обещали...

— Министр был вынужден вас уволить. Вы последний из супрефектов, уцелевших после Шестнадцатого мая... Вы сами явились и напомнили о себе... Чего же вы хотите?

Они стояли друг против друга, одинаково причесанные, в бакенбардах одинаковой длины, оба крутили пенсне на кончике пальца, но так же отличались один от другого, как копия от подлинника. Лори с ужасом думал о жене и детях. Место в министерстве было его последней надеждой.

— Что же мне делать? — прошептал он, задыхаясь.

Даже черствый Шемино почувствовал к нему жалость и посоветовал время от времени заглядывать в министерство. Он теперь заведует делами печати и когда — нибудь, возможно, устроит его у себя в канцелярии.

Лори вернулся в гостиницу совершенно обескураженный. Там ждала его депеша из Амбуаза: «Выезжайте немедленно она умирает». Но как он ни спешил, некто успел обогнать его, некто летел еще быстрее: жена умерла без него, умерла одинокая в доме стариков Гайетонов, вдалеке от всех, кого любила, тревожась за дорогих малюток, брошенных на чужбине. Как безжалостна судьба, как бесчеловечна политика!

Надеясь на обещания Шемино, Лори остался в Париже. Да и что стал бы он делать в Африке? Он поручил служанке привезти детей, заплатить по счетам, запаковать платья, книги, бумаги, тем более, что все остальное имущество — мебель, посуда, белье — принадлежало префектуре. Сильванира заслуживала полного доверия. Она поступила к ним двенадцать лет назад, еще в Бурже, где Лори вскоре после женитьбы получил место советника префектуры. Молодая чета наняла в кормилицы к своему первенцу эту попавшую в беду деревенскую девушку, которую обольстил и бросил с ребенком на руках какой-то ученик артиллерийской школы. Когда младенец умер, бедняжку приютили супруги Лори, и на этот раз доброе дело было вознаграждено. Их служанка, крепкая, цветущая девушка, была безгранично предана своим хозяевам и весьма добродетельна, так как навсегда излечилась от любовных соблазнов: любовь?.. А ну еел Того и гляди угодишь в больницу! Вдобавок она очень гордилась, что служит у чиновника-важного господина в расшитом серебром мундире и складном цилиндре.

Спокойно и основательно, как все, что она делала, Сильванира собрала детей в далекое путешествие и расплатилась по счетам, что оказалось сложнее, чем предполагал Лори, ибо ей пришлось истратить на это свои последние сбережения. Когда она сошла с поезда и выбралась из толпы, держа за руки обоих сироток в новеньких траурных платьях, произошла одна из тех трогательных встреч, какие часто можно наблюдать на вокзале

среди суতোлки, грохота тележек и беготни носильщиков. Каждый солидный мужчина, особенно с такими великолепными бакенбардами, подстриженными, как у самого Шемино, старается скрыть волнение при посторонних, принимает деловитый, озабоченный вид, произносит банальные фразы, но все равно не может удержать слезы.

— Где багаж? — спрашивает Лори, задыхаясь от рыданий, а Сильванира, еще более взволнованная, отвечает, всхлипывая, что багажа оказалось слишком много, что Ромен пошлет его ма-а-лой ско-о-ростью.

— Ну, если... Ромен...

Лори хочет сказать, что Ромен, за что ни возьмется, все сделает хорошо, но слезы мешают ему говорить. Дети, утомленные долгим переездом, не плачут; они еще слишком малы и не понимают, что потеряли самое дорогое, родное существо, что теперь им некого называть «мамой».

Бедные малыши) Каким мрачным показался им Париж после сияющего, лазурного неба Алжира, какой тесной после просторного дворца — комната четвертого этажа в гостинице на улице Майль, дешевый номер с почерневшими от плесени стенами и убогой мебелью! Как тягостны были чинные обеды за общим столом, где им запрещалось разговаривать, как скучны чужие, незнакомые лица! Единственным развлечением служили детям редкие прогулки под зонтиком с няней Сильванирой, которая, боясь заблудиться, не решалась водить их дальше площади Победы. Отец тем временем, ожидая обещанного места в министерстве, бегал по городу в поисках работы.

Какой работы?

Кто прослужил двадцать лет чиновником, тот неспособен ни к какому другому делу — настолько его иссушил и обезличил пустой формализм канцелярской обстановки. Никто не умел лучше Лори составить официальное письмо гладким, витиеватым слогом, не объясняя прямо существа дела, — написать много, не сказав ничего. Никто так не разбирался в тонкостях иерархии, никто так хорошо не знал, как титуловать председателя суда, епископа, полкового командира или «доброе старого товарища». Он не имел себе равных в искусстве поставить на место судейское сословие — извечного врага правительственной администрации; в пристрастии к конторским книгам, кипам бумаг, картотекам, зеленым папкам, реестрам; в умении держать себя на послеобеденных приемах у супруги председателя или у генеральши, когда, стоя спиной к камину, расправив фалды, он произносил туманные цветистые фразы, горячо присоединялся к мнению большинства, грубо льстил и деликатно возражал, подбрасывая пенсне: «Нет, позвольте...»; в искусстве председательствовать

под звуки труб и гром барабанов на воинских комиссиях по призыву рекрутов, на сельскохозяйственных выставках, на экзаменах при раздаче наград, ловко вставляя при случае стих Горация или остроту Монтеня, менять тон смотря по тому, говорил ли он с учениками, новобранцами, духовными лицами, рабочими, монахинями или крестьянами. Одним словом, во всех этих заученных приемах, позах, жестах высокопоставленного чиновника никто не мог сравниться с Лори-Дюфреном, кроме Шемино. Но к чему это могло послужить ему теперь? Разве не ужасно, что он не знал, как одеть и прокормить детей, что к сорока годам он ничему не научился, кроме театральных жестов и трескучих фраз?

В ожидании места, обещанного Шемино, бывшему супрефекту пришлось устроиться на время в агентстве по переписке театральных пьес.

Около дюжины переписчиков работало за большим столом на антресолях улицы Монмартра, в темной конторе, где целый день не тушили газовых рожков. Они строчили молча, хмурые, угрюмые, едва знакомые меж собою, точно случайные посетители ночлежки или соседи по больничной палате, почти все — бедняки, опустившиеся, оборванные, с голодными глазами, пахнущие нищетой, а то и кое-чем похуже. Иной раз среди них появлялся отставной военный, сытый, прилично одетый, с желтой ленточкой в петлице, и принимался за дело в послеобеденные часы, видимо, желая подработать в дополнение к своей скромной пенсии.

Одним и тем же круглым аккуратным почерком, на бумаге одинакового формата, необычайно гладкой, чтобы легче скользили перья, все эти горемыки без устали переписывали драмы, водевили, оперетки, феерии, комедии, переписывали машинально, тупо, как быдло, с поникшей головой и пустым взглядом. В первое время Лори интересовался своей работой. Его забавляли запутанные интриги пьес, выходивших из-под его пера, смешные развязки водевилей, сложные сюжеты современных драм с неизбежным адюльтером, поданным под всевозможными приправами.

«Откуда только они все это берут?» — думал он иногда, удивляясь бесконечно сложным, лишенным всякого правдоподобия перипетиям драмы. Особенно поражало его обилие роскошных яств в каждой пьесе, — всюду шампанское, омары, паштет из дичи, вечно герои выходят на сцену с набитым ртом, с подвязанной у подбородка салфеткой. Усердно переписывая эти ремарки, Лори закусывал булочкой за два су, которую он стыдливо крошил у себя в кармане. Он все больше убеждался, что между театром и жизнью общего весьма мало.

Ремеслом переписчика Лори зарабатывал три-четыре франка в день и охотно работал бы еще и вечерами, но рукописей на дом не давали, а

иногда и работы не хватало на всех. Шемино все тянул, откладывал прием со дня на день, счета в гостинице все росли, а тут еще пришел багаж, за который надо было уплатить триста франков... Триста франков за одну перевозку!.. Лори не хотел верить этой цифре, пока сам не увидел в Берси, под навесом вокзала, груды ящиков и тюков, адресованных на его имя. Не зная, что выбрать из вещей, Сильванира на всякий случай сгребла все что попало — старый хлам, негодные бумаги, — все, что накопилось в доме у супрефекта за десять лет службы в Алжире: разрозненные тома юридических книг, брошюры об алоэ, эвкалипте, филлоксере, платья госпожи Лори все до одного, — бедная барыня! — даже старые вышитые кепи, перламутровые рукоятки парадной шпаги — прямо хоть открывай Лавку старьевщика под вывеской «Супрефект, уволенный со службы». Вся эта рухлядь была старательно упакована преданным Роменом, заколочена, запечатана, застрахована от всяких случайностей на море и на суше.

Каким образом запихать все это в гостиницу, скажите на милость? Пришлось спешно подыскивать квартиру. Лори нашел помещение в нижнем этаже на улице Валь-де-Грас, прельстившей его своей тишиной, провинциальным покоем и близостью к Люксембургскому саду, где дети могли дышать воздухом. Переселение прошло весело. Дети радовались, отыскивая в распакованных ящиках знакомые игрушки, книги, куклу Фанни, столярный верстак Мориса. После банальной обстановки гостиницы — романтизм цыганского табора; множество ненужных вещей при отсутствии самых необходимых, свечка в старом флаконе из-под духов, газеты вместо тарелок... В первый вечер над этим весело смеялись. А когда, пообедав наскоро, стоя, расставили ящики по углам и разложили тюфяки прямо на полу, Лори-Дюфрен торжественно обошел со свечой в руке новую квартиру, напоминавшую склад товаров при магазине, и сказал, отлично выразив общее настроение:

— Правда, тут многого не хватает, но зато мы у себя дома!

Следующий день был омрачен заботами. На перевозку багажа и задаток за квартиру ушли последние деньги Лори, а его средства и без того были сильно истощены счетами от Гайетонов, частыми переездами, расходами в Париже и покупкой места на Амбуазском кладбище — узенького клочка земли для той, которая и при жизни занимала совсем мало места. Надвигалась зима, гораздо более суровая, чем в Алжире, а детям не запасли ни обуви, ни теплой одежды. К счастью, при них была Сильванира. Верная служанка заботилась обо всем, бегала стирать в прачечную, штопала, перешивала старые платья, чинила провололочкой пенсне хозяина, чистила его перчатки, так как бывший чиновник любил одеваться

прилично. Она носила старое тряпье ветошникам на улице Мсье-ле-Пренс, продавала юридические книги и брошюры по виноделию букинистам на улице Сорбонны, сбывала по случаю остатки прежнего величия — шитые серебром парадные сюртуки супрефекта.

Один из ветхих мундиров, который никто не пожелал купить, Лори носил теперь дома вместо халата, чтобы не занашивать своего единственного выходного костюма. Надо было видеть, как величественно, дрожа от холода в расшитых серебром лохмотьях, бывший супрефект расхаживал по нетопленной комнате, чтобы согреться. Сильванира между тем, портя себе зрение, что — то чинила при свете единственной свечи, а дети спали тут же, правда, не на холодном полу, а в упаковочных ящиках, где им устроили постельки. Нет, честное слово, ни в одной из драм, даже самых вздорных и невероятных, которые переписывал Лори-Дюфрен, ему не доводилось встречать такую сцену!

III. ЭЛИНА ЭПСЕН

Из квартиры Эпсен во втором этаже бабушка внимательно следила в окно за всеми уходами и приходами нижних жильцов. С тех пор как бедная старушка уже не могла вязать своими трясущимися руками, не спуская петель, и с трудом перелистывала томик Андерсена, у нее осталось единственное развлечение — смотреть на улицу из своего уголка. Мимо их дома по тихой улице Валь-де-Грас изредка проходили больничные служители с белыми погонами, школьник в форменной курточке, две-три монахини в крылатых чепцах появлялись одна за другой, точно фигурки на башенных часах, — поэтому приезд семейства Лори внес в эту привычную картину некоторое разнообразие.

Старушка знала точно, в котором часу отец отправляется в контору, когда служанка уходит за покупками, в какие дни появляется человек с корзиной. Особенно ее интересовала девочка, худенькая, с тонкими ножками, которая на улице робко прижималась к няне и в своей коротенькой юбочке перепрыгивала через лужи. Бабушка считала, что служанка — злая, нерадивая женщина, даже не умеет прилично одеть малютку. Старушка подробно рассмотрела два траурных платьица с выпущенным подолом, стоптанные башмачки с покосившимися каблуками и часто ворчала про себя:

«Где ж это видано? Ведь они искалечат ребенка... Неужели так трудно отдать сапожнику подбить каблуки?»

Во время дождя бабушка беспокоилась, взяла ли няня дождевой плащ для малютки, почему они так долго не возвращаются, и радовалась, когда наконец на углу их улицы и бульвара Сен-Мишель, между стаями голубей, на краю тротуара, появлялась служанка в беррийском чепце, крепко держа за руки своих питомцев.

— Да идите же!.. Переход свободен, — невольно шептала бабушка, видя, что эта деревенщина, боясь экипажей, не решается перейти улицу, и делала им знаки в окно.

На г-жу Эпсен, более сентиментальную и романтическую, особое впечатление производили прекрасные манеры нового жильца и черный креп на его шляпе — вероятно, траур по жене, ибо хозяйки дома никто никогда не видел. Обе женщины готовы были целыми вечерами вести разговоры о новых соседях.

Элина, бегавшая весь день по урокам, гораздо меньше интересовалась

жизнью семьи Лори, но ей было жалко бедных сироток, оставшихся без матери в огромном Париже, и при встрече она всегда улыбалась им, пыталась даже вступить в разговор, несмотря на угрюмое молчание нелюдимой беррийки. В канун Рождества, в датский *Juleaften*,^[2] который в семье Эпсен неизменно праздновали по старым обычаям, Элина сошла вниз и пригласила детей Лори поиграть с соседскими ребятами, отведать датской *risengroed*^[3] и полакомиться сладостями, висевшими на ветках елки среди зажженных восковых свечей и цветных фонариков.

Представьте себе, как были огорчены бедные малыши, прятавшиеся за широкой спиной Сильваниры, когда служанка, загородив собою дверь, заявила, что дети никуда не выходят, что барин запретил это строго-настрого. Как грустно им было весь вечер слышать у себя над головой звуки фортепьяно, пение, радостные крики и топот детских ножек вокруг рождественской елки!

На этот раз даже сам Лори нашел, что Сильванира поступила чересчур сурово, и на следующий день, в праздник Рождества, велел принарядить детей, поднялся вместе с ними к соседкам в верхнюю квартиру.

Все семейство Эпсен было дома. Церемонные манеры бывшего супрефекта, чинные поклоны мальчика и его сестренки вначале слегка смутили простодушных женщин. Но маленькая Фанни была так мила, что натянутость первых минут вскоре рассеялась. Девочка искренне радовалась, что может увидеть вблизи красивую молодую даму, которая ласково улыбалась им при встрече, и старушку, постоянно смотревшую на них из окна. Элина посадила девчурку на колени и, засовывая ей в кармашки вчерашние сласти, принялась расспрашивать:

— Уже семь лет?.. Совсем большая девочка!.. Верно, ходишь в школу?

— Нет, мадемуазель, пока еще нет, — живо вмещался отец, словно опасаясь, что малютка не сумеет ответить.

Он объяснил, что у дочки хрупкое здоровье и ей еще рано учиться. Вот мальчик — настоящий крепыш, он прямо создан для своей будущей профессии.

— А кем он будет? — спросила г-жа Эпсен.

— Моряком... В шестнадцать лет он поступит в морское училище, — бодро ответил г-н Лори, хлопнув по плечу сына, который, ссутулившись, ерзал на стуле. — А ну, Морис, держись прямее!.. Ведь ты будешь плавать на «Борда»!

При упоминании учебного судна «Борда» глазки маленькой Фанни гордо заблестели, а будущий гардемарин, вертевший в руках морскую

фуражку с галуном, встрепенулся, издал восторженное восклицание, но тут же сник и потупился, уныло опустив нос, который вырос у него несоразмерно длинным и как будто говорил другим чертам лица: «Я расту быстрее вас... А ну, догоняйте меня!»

— На мальчика дурно действует парижский воздух, — заметил г-н Лори, точно стараясь оправдать подавленный вид сына.

Он объяснил, что в Париже они задержались проездом, по делам, устроились в этой квартире лишь временно, кое-как, и, разумеется, у них в хозяйстве недостает многих мелочей... Г-н Лори изъяснялся красноречиво, держа шляпу под мышкой, играя пенсне на кончике пальца, изящно поводя плечами, его правильное, несколько надменное лицо освещалось тонкой улыбкой. Г-жа Эпсен и бабушка были ослеплены.

Элине гость показался немного фразером, но ее тронуло то, как он говорил о смерти жены, — тихо, просто, глухим, изменившимся голосом. Несмотря на пышные фразы г-на Лори, она заметила по разным мелочам в костюме девочки, хотя ее старательно принарядили для этого визита, — по заштопанному воротничку, выцветшей ленте на шляпке, — что эти люди совсем не богаты, и ее симпатия к несчастной семье, с достоинством переносившей нищету, еще возросла.

Через несколько дней после этого посещения к дамам Эпсен позвонила совершенно растерявшаяся Сильванира. У нее заболела Фанни, тяжело заболела. Это случилось внезапно, после ухода хозяина, и перепуганная няня обратилась за помощью к единственным соседям, которых она знала. Элина с матерью, спустившись вниз, были поражены убогим видом трех мрачных комнат с голыми стенами, без огня, без мебели, без занавесок, комнат, где по углам валялись груды истрепанных книг и дырявых зеленых папок с бумагами.

Кое-где старая кухонная посуда, два-три свернутых тюфяка, а вместо мебели множество ящиков разного размера, набитых бельем и всяким хламом или совершенно пустых. Один из ящиков, перевернутый вверх дном, с надписью «осторожно» на всех углах, видимо, служил обеденным столом: на нем стояли тарелки, валялись корки хлеба, куски сыра, оставшиеся от завтрака. В другом ящике устроили постель для девочки, которая лежала там, точно в гробу, бледная, осунувшаяся, вся дрожа от озноба, между тем как будущий гардемарин в своей великолепной фуражке с галуном горько рыдал у ее изголовья.

Комнаты были расположены так же, как во втором этаже, и, мысленно сравнивая свою уютную, нарядную гостиную и две теплых спальни с этой мрачной конурой, Элина чувствовала угрызения совести. Как могли они

жить рядом с такой беспросветной нищетой, ничего не подозревая) Она вспомнила, с каким светским изяществом держался их представительный гость, каким небрежным тоном, играя пенсне, он признавался, что у них в хозяйстве недостает кое-каких мелочей. Да уж, нечего сказать, мелочей! Ни топлива, ни вина, ни теплого платья, ни простынь, ни башмаков. Дети нередко умирают от недостатка именно таких пустяков.

— Скорей за доктором!

По счастью, сын Оссандона, военный врач, как раз на эти дни приехал погостить к родителям. За ним побежала г-жа Эпсен, а Элина тем временем принялась наводить порядок в убогой квартирке при помощи Сильваниры, которая совсем потеряла голову. Натыкаясь на всех, служанка волокла по полу железную кровать; набрав наверху, у бабушки, полный фартук дров, с грохотом роняла их на лестнице и все время бормотала в испуге:

— Что скажет барин?.. Что скажет барин?..

— Что же с девочкой? — спросила у матери Элина — во время осмотра врача она пряталась в соседней комнате и не выходила до тех пор, пока обшитая галуном фуражка молодого Оссандона не скрылась в тумане за калиткой.

Доброе лицо г-жи Эпсен просияло от радости.

— Опасного ничего нет... Желтуха... Несколько дней покоя и хороший уход... Погляди: ей сразу стало лучше, как только ты уложила ее поудобнее.

И она прибавила шепотом, наклонившись к дочери:

— Он расспрашивал о тебе с такой *люповью*!.. Я думаю, он все еще надеется.

— Бедный юноша! — вздохнула Элина, оправляя одеяло больной на узенькой белой кровати, в которой она сама спала в детстве.

Фанни с улыбкой смотрела на Элину блестящими от жара глазками, а к руке ее прижималось что-то теплое, влажное, точно ее лизала большая дворовая собака. Это Сильванира, плача от радости, без слов благодарила девушку, целуя ей руки. Право же, служанка была вовсе не такой злой, как представлялось бабушке.

Вечером, когда возвратился Лори, Фанни спокойно спала под светлым кисейным пологом. В камине жарко пылал огонь. На окнах висели занавески, вместо ящиков стояли кресла, настоящий стол, ночная лампада бросала на потолок молочно-белые отблески — в этой детской спальне, в отличие от соседних комнат, во всем ощущалось присутствие нежной, заботливой женской руки.

Начиная с этого памятного дня между соседями завязалась тесная

дружба. Семья Эпсен как бы усыновила маленькую Фанни; ее беспрестанно звали к себе и никогда не отпускали без подарка — то сунут теплые перчатки для зябких детских ручек, то башмаки, то вязаную косынку. Возвращаясь с уроков, Элина брала Фанни наверх и занималась с нею каждый вечер не меньше часу. Сиротка, давно уже предоставленная обществу Сильваниры, забивавшей ей голову глупыми рассказами, конечно, успела воспринять вульгарные манеры и простонародный говор своей няни, подобно тем малышам, которых надолго отдают в деревню кормилице. Возложив на мать материальные заботы о девочке, Элина поставила себе целью избавить Фанни от грубых влияний и сделать из нее благовоспитанную барышню, стараясь не задевать при этом самолюбия преданной и обидчивой служанки.

Чего только не могла добиться кроткая Лина силою своего обаяния! Стоило ей шепнуть словечко баронессе Герспах, у которой бывал всемогущий Шемино, и для Лори сразу же нашлось вакантное место в министерстве, в доселе недосягаемом отделе г-на директора. Двести франков в месяц, с вычетами. Правда, он надеялся на лучший оклад, но зато это был первый шаг, возвращение в канцелярскую среду, без которой он смертельно тосковал. Какое наслаждение копаться в бумагах, вынимать и убирать зеленые папки со знакомым запахом плесени, чувствовать себя одним из колесиков огромной, сложной, громоздкой ржавой машины, которая называется французской администрацией!.. Лори-Дюфрен просто помолодел.

А как отрадно вечерком, после утомительных трудов, зайти с дочкой к милым соседкам и посидеть в их уютной гостиной с тяжелой старомодной мебелью, с конσόлами в стиле ампир, привезенными из Копенгагена, и пресловутыми часами, которые так и не пошли, — причиной всех бедствий семьи Эпсен! Среди старинной обстановки выделялись изящные стулья из модного мебельного магазина и решетчатая этажерка — подарки богатых учениц. И везде и всюду лежало рукоделье старой датчанки — кружевные накидки, скатерти, чехлы, давно вышедшие из моды, но придававшие какую-то особую прелесть этой тихой комнате, где хозяйничали три очаровательные женщины — бабушка, мать и внучка, достойные представительницы трех поколений.

Пока Элина, разложив книги, занималась с Фанни, Лори-Дюфрен беседовал с г-жой Эпсен, рассказывал ей с особым удовольствием, как и подобало опальному сановнику, о счастливых днях минувшего величия, о былых успехах. Он любил похвастать своими подвигами на административном поприще, своим организаторским талантом,

неоценимыми услугами, которые он оказывал в свое время колониальным властям. Иной раз, увлекшись, он вспоминал отрывки из какой-нибудь старой публичной речи и громко декламировал, простирая руки к воображаемой аудитории: «Необозримые пространства, широкое поле деятельности... вот девиз новых территорий, милостивые государи...»

В другом углу гостиной лампа освещала более мирную картину: дремлющую бабушку в очках, Фанни, склонившуюся над книгой, и Элину, которая, ласково обняв девочку, помогала ей делать уроки. А за окном, в двадцати шагах от тихой, захолустной улицы, гудела и рокотала толпа на бульваре Сен-Мишель, весело шумели студенты, спешившие на танцы в городской сад Бюлье, откуда в дни балов доносилась музыка духового оркестра. И все эти волны звуков смешивались и сливались в несмолкаемый, смутный гул Парижа.

По воскресеньям в гостиной Эпсенов наступало оживление: хозяйки готовились к приему гостей, зажигали свечи у фортепьяно. Самыми давнишними их завсегдатаями были две датские семьи, первые, с кем они познакомились в Париже, — молчаливые, улыбающиеся увальни и толстухи, которые обычно рассаживались вдоль стен в роли немых свидетелей или «декораций». Иногда заходил г-н Бирк, молодой пастор из Копенгагена, с недавних пор переведенный в Париж, в датскую церковь на улице Шоша. Элина, игравшая в церкви на органе при старом священнике, г-не Ларсене, продолжала безвозмездно исполнять эту обязанность и теперь, а новый пастор считал своим долгом, в знак признательности, изредка являться к ней с визитом, хотя оба не чувствовали особого расположения друг к другу. Этот тучный, рыжебородый молодой человек со следами оспы на правильном, благообразном лице, напоминавшем источенные червями деревянные распятия в деревенском храме, напускал на себя необычайно строгий и степенный вид; на самом же деле это был ловкий карьерист, который, прослышав, что многие парижские пасторы выгодно женились, вбил себе в голову подцепить в современном Вавилоне невесту с богатым приданым.

В гостиной г-жи Эпсен, где собирались люди скромные, без состояния, ему нечем было поживиться, а потому его рыжая раздвоенная борода «появлялась здесь ненадолго. Бирк давал понять, что для него это общество недостаточно благочестиво. Действительно, хозяйки дома отличались веротерпимостью и мало интересовались религиозными убеждениями своих гостей, однако это не мешало пастору Ларсену посещать их в течение многих лет и встречаться тут с прославленным г-ном Оссандоном.

Почтенному декану, чтобы навестить соседок, стоило лишь пройти

небольшой садик, где он постоянно работал с садовыми ножницами в руках, согнув свой высокий стан над кустами роз, между тем как маленькая, бойкая г-жа Оссандон в сбившемся набок чепце следила за ним из окна и при малейшем дуновении ветра кричала мужу: «Оссандон, иди домой!» «Сейчас приду, Голубка...» И величественный старик шел на ее зов послушно, как ребенок. Благодаря близкому соседству и благодаря переводам, которые декан заказывал Элине для своих лекций по истории церкви, обе семьи подружились, а незадолго до приезда Лори-Дюфрена младший сын Оссандона, Поль, которого мать называла не иначе, как «майор», сделал предложение Элине Эпсен.

К несчастью, военный врач принужден был вести кочевую, бивачную жизнь, а потому, не желая расстаться с матерью и бабушкой, Элина сразу отказала ему наотрез; никто, никто, даже самые близкие ей люди не знали, чего стоил девушке этот отказ. С тех пор отношения между соседями изменились. Г-жа Оссандон избегала Эпсенов; хотя дамы кланялись при встрече, но перестали посещать друг друга. Воскресные вечера в гостиной стали из-за этого гораздо скучнее, ибо старый декан был необыкновенно остроумен, а зычный голос его «Голубки» гремел, как труба, сотрясая стены, особенно когда приходила Генриетта Брис и разгорались горячие богословские споры.

Генриетта Брис, старая дева лет тридцати — тридцати пяти, норвежка, ревностная католичка, проведя десять лет в монастыре в Христиании, принуждена была уйти оттуда из-за слабого здоровья и теперь пыталась, как она говорила, приобщиться к мирской жизни. Приученная к строгому уставу, к безропотному подчинению, она утратила всякую самостоятельность, всякое чувство ответственности и теперь, в толчее людей и событий, растерянная, сбитая с толку, жалобно взывала о помощи, точно выпавший из гнезда птенец. Между тем она была неглупа, образованна, хорошо знала языки, поэтому ее охотно брали в качестве гувернантки в богатые семьи — в России и в Польше. Но Генриетта нигде долго не уживалась — ее возмущало и оскорбляло всякое столкновение с грубой действительностью, от которой ее уже не охраняло девственно-белое, непроницаемое покрывало монашеского ордена.

«Надо быть практичной!» — то и дело повторяла бедняжка, стараясь внушить себе твердость и благоразумие. Увы, не было на свете особы менее практичной, чем эта нелепая, худосочная, изнуренная катаром желудка чудачка с неровно отросшими после стрижки волосами под круглой дорожной шляпкой, имевшая вид пугала в старых обносках богатых учениц, щеголявшая жарким летом в меховой накидке поверх

дешевенького светлого платья. При всей своей набожности и строгом соблюдении обрядов она была настроена либерально, даже революционно, и так же обожала Гарибальди, как и преподобного Дидона.^[4] Гувернантка внушала ученикам столь дикие, столь сумасбродные идеи, что перепуганные родители вскоре давали ей расчет, и она всякий раз, получив деньги, приезжала тратить их в Париж — единственное место в мире, где, по ее словам, ей дышалось легко и свободно.

Время от времени, когда знакомые думали, что она прочно устроилась на место в Москве или в Копенгагене, Генриетта внезапно появлялась, радостная, вольная, как птица. Сняв меблированную комнату, она бегала слушать знаменитых проповедников, навещала монахинь в монастыре, священников в ризнице, не пропускала ни одной лекции по богословию, делала заметки и обрабатывала их в статьи. Ее заветной мечтой было печататься в католической газете, и она засыпала письмами Луи Вейо,^[5] хотя тот никогда ей не отвечал. Не имея возможности печатать статьи, Генриетта Брис изливала свой пыл в богословских спорах на вечерах у знакомых, особенно охотно — в лютеранской семье Эпсен, на улице Вальде-Грас, горячо доказывая, опровергая, цитируя священное писание, и уходила оттуда измученная, с пересохшим горлом, с головной болью, но счастливая, что ей удалось наконец исповедать свою веру. Через некоторое время, оставшись без гроша, что каждый раз ее удивляло, огорченная Генриетта поступала на первое подвернувшееся ей место, уезжала куда-нибудь далеко, и несколько месяцев о ней ничего не было слышно.

Когда Лори встретил Генриетту у Эпсенов, в ее жизни как раз наступила трудная полоса: она слишком поздно начала хлопотать о месте и, ожидая ответа, устроилась в монастырском приюте на улице Шерш-Миди, где помещалось нечто вроде конторы по найму прислуги. Там ее демократические идеи и любовь к простому народу подверглись тяжелому испытанию при ближайшем знакомстве с хитрыми, распутными парижскими горничными, которые в молельне и в приемной, расписанной аляповатыми фресками страстей христовых, набожно крестились, а в спальнях взламывали сундуки, громко распевали непристойные уличные песенки, украшали волосы золочеными шпильками и мишурными звездами, прикрывая их скромным чепчиком, когда выходили в приемную к нанимателям. Каждое воскресенье у Эпсенов, которым при всем желании негде было приютить ее в своей тесной квартирке, старая дева горько жаловалась, что ей приходится жить в такой отвратительной, пошлой среде. Но при всем своем сочувствии друзья остерегались ей помогать,

зная, что деньги за комнату и стол она все равно немедленно пустит по ветру, растратит на какую-нибудь благотворительную затею или дурацкую причуду. Генриетта, не обижаясь на их недоверие, приходила в отчаянье, что не умеет быть практичной, «как, например, господин Лори или вы, дорогая Лина».

— Право, не могу сказать, практична ли я, — отвечала Элина с улыбкой, — просто я знаю, чего хочу, и с удовольствием делаю свое дело.

— Ну, а мое дело — воспитывать детей, но это не доставляет мне никакого удовольствия... Я терпеть не могу детей. С ними приходится сюсюкать, подлаживаться к их пониманию; тут и сама невольно глупеешь. Это унижительно.

— Что вы говорите, Генриетта!

Лина смотрела на нее с ужасом. Она-то любила детей всех возрастов: и резвых подростков, только начинающих читать, и младенцев с нежным тельцем, которых так приятно целовать и баюкать. Она нарочно делала крюк через Люксембургский сад, чтобы послушать их веселый визг, поглядеть, как они играют с лопаточкой в песке, как сладко спят в пелеринках на руках у кормилицы или под пологом колясочки. Она улыбалась в ответ на пытливые детские взгляды и если замечала, что головка младенца не прикрыта от ветра и солнца зонтиком или капором, тут же кричала нерадивой кормилице: «Няня! Укройте ребенка!» Она не представляла себе, как это женщина может быть совершенно лишена материнского чувства. Впрочем, стоило только взглянуть на них обеих, чтобы понять, какие это разные натуры: одна — с широкими бедрами, маленькой головкой, добрым, спокойным лицом — была словно создана для материнства, другая — неуклюжая, костлявая, с угловатыми жестами, с длинными, тощими руками, то простертыми ввысь, то скрещенными на груди, — напоминала картины художников раннего средневековья.

Иногда в разговор вмешивалась г-жа Эпсен:

— Не понимаю, голубушка, раз вам не по сердцу воспитывать детей, зачем же этим заниматься? Почему не вернуться домой к родителям? Вы сами говорите, что они стары, одиноки, ваша матушка хворает, вот вы и помогли бы ей по хозяйству... ну там стирать, стряпать...

— Нет уж, спасибо! Это все равно, что выйти замуж, — живо перебивала Генриетта. — Терпеть не могу хозяйства: это низменный, притупляющий труд, ум бездействует, заняты только руки...

— Занимаясь хозяйством, можно думать, размышлять... — возражала Элина.

Но та ничего не желала слушать.

— Мои родные — люди бедные, я была бы им в тягость... Вдобавок это простые крестьяне, они не способны меня понять.

Тут г-жа Эпсен приходила в негодование:

— Вот они каковы, паписты, с их хваленными монастырями! Мало того, что отнимают у родителей опору их старости, дочек и сыновей, они еще вытравливают в них семейные привязанности, самую память о родном доме. Нечего сказать, хороша ваша божья обитель — настоящая тюрьма!

Девушка Брис не сердилась, но горячо защищала свой любимый монастырь, приводя всевозможные доводы и евангельские тексты. Она провела там одиннадцать лет, отрешенная от жизни, безвольная, в молитвенном созерцании, в блаженном забытии, после чего реальная жизнь казалась ей жестокой и утомительной.

— Помилуйте, госпожа Эпсен, в наш век грубого материализма это — единственное прибежище для возвышенных душ.

Добрая женщина задыхалась от гнева:

— Что вы говорите?.. Как это можно!.. Ну и ступайте в ваш монастырь... Собирайте лентяек и сумасшедших...

Но тут громкие звуки арпеджий заглушали их спор. Немые «декорации», восторженно восторженно, робко подходили к фортепьяно, и Элина своим чистым, мелодичным голосом начинала петь романсы Шопена. Затем наступала очередь бабушки, исполнявшей по просьбе гостей старинные скандинавские песни, которые Лина слово за слово переводила г-ну Лори. Выпрямившись в кресле, старушка затягивала дребезжащим голосом морскую песню о храбром короле Христиане: «Стоял он у гот-мачты в дыму порохом...» — или грустный напев о далекой родной Дании, «прекрасной стране, где так зелены и нивы и луга», омываемой «бирюзовой волной...».

...Теперь не слышно больше песен в гостиной Эпсенов. Фортепьяно умолкло, свечи погасли. Старая датчанка удалилась в прекрасную страну полей и зеленых лугов, которую не омывают бирюзовые волны, страну далекую и неведомую, откуда еще никто не возвращался.

IV. УТРЕННИЕ ЧАСЫ

Через несколько дней после смерти бабушки дети Лори сидели дома одни. Отец ушел в министерство, а няня — на рынок, как всегда, заперев их на двойной поворот ключа, ибо Сильванира и теперь боялась Парижа не меньше, чем в день приезда, искренне веря, что в столице рыщет шайка воров, которая крадет детей, делает из них ярмарочных фокусников, уличных арфистов и даже — подумать страшно! — печет из них горячие пирожки. Поэтому, оставляя дома Мориса и Фанни, она каждый раз строго-настрого наказывала им, точно коза в детской сказке своим козлятам: «Запритесь хорошенько и никому не открывайте двери, никому, кроме Ромена».

Ромен, таинственный человек с корзиной, который так интересовал бедную бабушку, прибыл из Алжира вслед за семьей Лори, задержавшись всего на несколько дней, чтобы сдать должность в супрефектуре своему преемнику; он служил там привратником и садовником, исполняя сверх того обязанности кучера, дворецкого и мужа Сильваниры — о последнем, впрочем, и говорить-то не стоило. Беррийка с большим трудом согласилась на этот брак. После злополучного приключения в Бурже ее не мог бы соблазнить и писанный красавец, не то что неказистый коротыш Ромен, на голову ниже ее ростом, «мозгляк», с кашей во рту, да еще желтый, как яичница на постном масле; такой загар он приобрел под солнцем Сенегала, где, уйдя с морской службы, работал садовником у губернатора.

Но хозяйева Сильваниры уговаривали ее выйти за него замуж. Да и сам Ромен уж такой был славный, услужливый, мастер на все руки, подбирал такие роскошные букеты, выдумывал такие забавы для детей, а главное, до того умильно пялил на нее глаза, что в конце концов, испробовав все отговорки, даже покаявшись в грехе с артиллеристом, Сильванира сдалась:

— Ну уж ладно, Ромен, будь по-вашему... Только не пойму, с чего бы это? — Пожимая пышными плечами, она удивленно добавила: — Чего это вам в голову взбрело?..

В ответ Ромен что-то пылко и невнятно забормотал — не то клятвы в вечной любви, не то угрозы жестоко отомстить артиллеристам, «разрази их гром». Это была его любимая поговорка: «Разрази меня гром!», от которой ничто не могло его отучить, крик души, выражавший все его сокровенные чувства. Когда адмиралу Женульи^[6] каким-то чудом удалось спасти его от военного суда и когда г-жа Лори, хозяйка Сильваниры, уговорила ее выйти

за него замуж, Ромен благодарил их одними и теми же словами: «Разрази меня гром, ваше превосходительство!.. Разрази меня гром, сударыня!..» — выражая этим самую горячую признательность.

Поженившись, они продолжали жить по-прежнему: служанка работала в доме у хозяев, Ромен — в саду и во дворе, всегда врозь. По ночам Сильванира ходила за больной, потом, после отъезда госпожи, спала наверху, в детской, а бедный муж томился в одиночестве на широкой казенной кровати в каморке привратника. После нескольких месяцев этого сурового режима, едва скрашенных редкими сладостными часами, на семью Лори обрушилось несчастье, и хозяин приказал Сильванире привезти в Париж Мориса и Фанни.

— А я-то как же? — спросил Ромен, упаковывая вещи.

— Уж ты как хочешь, горемычный ты мой... А мне надо ехать, ничего не поделаешь.

Чего он хотел, черт подери? Жить вместе, никогда не разлучаться с женой! Сильванира посулила, что в Париже г-н Лори возьмет их обоих к себе и они заживут по-семейному, а потому Ромен без всякого сожаления отказался от своей должности в Шершеле.

Но когда он добрался до улицы Валь-де-Грас и служанка красноречивым жестом указала ему на детей, на убогую комнату, на груды пустых ящичков, бедняга только и мог пробормотать: «Разрази меня гром, женушка!..» Сразу видно, какие дела, где уж тут зажить по-семейному! Не понадобится здесь ни кучер, ни садовник, ни дворецкий.

— Нам достаточно пока одной Сильваниры... — с величественным видом объявил г-н Лори и посоветовал Ромену подыскать себе место на стороне — временно, разумеется, ибо скоро их положение изменится к лучшему.

Сильванира уверяла, что в Париже так принято: мужья с женами часто живут врозь, служа в разных домах; право же, чем реже встречаешься, тем крепче любишь Друг друга. Она так хороша была в своем пышном белом чепце, так ласково, так широко улыбалась, утешая мужа!

— Ну уж ладно, подыщу себе место, — вздохнул Ромен. И надо сказать, он гораздо скорее сумел устроиться, чем его хозяин.

Стоило ему спуститься на берега Сены, потолкаться там среди бедного люда, промышляющего на реке, и он мог выбрать любую работу — грузчика, носильщика, шлюзового мастера или подручного на прачечном плоту. В конце концов он поступил на шлюз у Монетного двора, по муниципальному ведомству, ибо по примеру г-на Лори питал пристрастие к административным должностям. Работа была тяжелая и отнимала много

времени, но, как только ему удавалось вырваться, Ромен прибегал на улицу Валь-де-Грас и всякий раз с каким-нибудь гостинцем в корзине; он тащил все, что мог раздобыть на шлюзе, — то несколько поленьев с плота, размокших от долгого плавания в Сене, то меру яблок, то пачку кофе. Подарки он носил Сильванире, но угощалась ими вся семья. Частенько в корзине оказывался топленый жир, кусок говядины и прочие съестные припасы, не имеющие никакого отношения к реке.

С некоторых пор посещения Ромена стали реже. Его перевели старшим смотрителем на шлюз Пти-Пор в трех милях от Парижа: сто франков в месяц при даровом освещении, казенных дровах, да еще домик на берегу реки с садом для цветов и овощей. Чего же лучше?.. Однако он ни за что бы не согласился переехать в такую даль, расстаться с Сильванирой, если б она сама этого не потребовала. Скоро настанет весна, тогда она приедет навестить его с детьми, проведет здесь несколько дней. Это заменит ребятишкам деревню. Как знать, может, со временем она и совсем сюда переселится: Сильванира не пожелала объясниться точнее. Ромен, одурев от радости, тут же согласился поступить на шлюз, хотя теперь ему удавалось навещать жену лишь изредка, совсем ненадолго, между двумя поездами.

Дети знали твердо: кроме Ромена, никого в дом не пускать; няня строго запретила отпирать двери. Но бед- fibre сиротки из Алжира, выросшие на вольном воздухе, как долго томились в душной, убогой комнате за спущенными жалюзи, что, оставшись одни, настезь растворяли окно на улицу; наивным малышам и в голову не приходило, что к ним могут залезть через окно. Да и чего бояться на тихой улице, где только кошки дремлют на солнышке да голуби гуляют по мостовой, разрывая розовыми лапками землю между камнями? К тому же теперь и комнату не стыдно показать: здесь есть кровати, стулья, шкаф, даже полки для книг и папок.

Старую мебель Сильванира расколола на дрова, оставив лишь два-три ящика, из которых будущий моряк мастерил себе парусники и гребные суда. Это был его излюбленный способ готовиться в Морское училище. Еще в детстве мальчик научился у Ромена строить кораблики, и отец видел в этом пристрастии явную склонность к морскому делу. Когда на званных вечерах в доме супрефекта детей приводили в залу, Лори-Дюфрен имел обыкновение с гордостью представлять сынишку гостям: «А вот и наш будущий моряк!» — или спрашивать громким голосом: «Ну как дела, ученик «Борда»?..»

Первое время мальчик был в восторге от славной профессии моряка,

видя, с какой почтительной завистью смотрят на него товарищи, и особенно от морской фуражки, подаренной ему по настоянию матери. Потом, когда начались серьезные занятия, он обнаружил, что геометрия и тригонометрия так же мало его увлекают, как и опасные кругосветные путешествия, но ему уже создали репутацию, все называли его моряком, и он не смел протестовать. С той поры жизнь его была отравлена. Под вечной угрозой «Борда», которым все прожужжали ему уши, мальчик стал каким-то пришибленным, отупевшим, жалким; нос его стал еще длиннее, оттого что постоянно склонялся над трудными, непонятными уравнениями, планами, чертежами, геометрическими фигурами в толстых учебниках. Будущего гардемарина ужасало огромное количество знаний, необходимых для поступления в Морское училище, но еще больше пугала мысль, что его все-таки могут туда принять.

Несмотря на это, он по-прежнему любил строить гребные суда, ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем просьба Фанни: «Сделай-ка мне кораблик». Теперь он как раз мастерил великолепную парусную яхту, каких еще не видывали на пруду Люксембургского сада, и работал с воодушевлением, разложив на подоконнике молоток, пилку, рубанок, все свои инструменты, которые сестренка подавала ему поочередно, а перед окном застыли в немом восторге соседские ребятишки в дырявых штанах и спущенных подтяжках.

Вдруг раздается крик: «Эй, эй, берегись!» Мостовая гремит, собаки лают, ребята бросаются врассыпную, голуби улетаются, и к дому Лори подкатывает великолепная карета с кучером в коричневой ливрее, запряженная пегими лошадьми. Из кареты выходит высокая, тощая старуха в черном платье и пелерине. Устремив на детей пытливый сердитый взгляд из-под густых, точно усы, нахмуренных бровей, она спрашивает:

— Здесь живет госпожа Эпсен?

Стиснув зубы, сжав кулачки, будущий моряк храбро отвечает, восхищая сестренку своей выдержкой:

— Нет, этажом выше...

И поспешно захлопывает окно. Черная дама очень похожа на злодейку из страшных сказок, которыми пугают их Сильванира. Фанни спрашивает шепотом, еле слышно:

— Должно быть, это одна из них?

— Да, наверное.

Когда стук шагов затихает на лестнице, девочка шепчет:

— Ты видел, как она на нас посмотрела?.. Я думала, она вот-вот вскочит к нам в окно.

— Пусть только попробует!.. — отвечает ученик «Борда» не слишком уверенным тоном. И пока они слышат шаги чужой дамы у себя над головой, а карета перед окном загораживает им вид на улицу, дети сидят тихо, как мышки, едва дыша, не смея разговаривать, не решаясь вбить гвоздь в кораблик. Наконец они слышат голос г-жи Эпсен, провожающей гостью до площадки лестницы. Слышат, как шуршит платье в коридоре, у самых дверей. Вот сейчас она выйдет на крыльцо. Будущий гардемарин, чтобы убедиться в этом, тихонько приподымает край занавески и сразу отскакивает. Черная дама тут как тут; она смотрит в окно алчным взглядом, как будто хочет выкрасть детей и увезти их с собой. Потом дверца экипажа захлопывается, лошади фыркают, трогаясь с места, и тень от кареты, которая загораживала улицу, исчезает, как дурной сон.

— Ух, наконец-то! — говорит Фанни, с облегчением вздыхая.

Вечером, когда Лори проводил дочку на урок к соседкам, г-жа Эпсен встретила его, сияя от радости, все еще взбудораженная визитом почетной гостьи.

— Кто же это был у вас? — осведомился Лори. — Мне говорили, будто приезжала карета...

Она гордо протянула ему роскошную визитную карточку на плотном картоне.

ЖАННА ОТМЛИ Председательница-учредительница
общества дам-евангелисток

Париж-Пор-Совер

— Госпожа Отман?.. Супруга банкира?

— Не она сама, приезжала дама по ее поручению. Лине предлагают перевести сборник молитв и размышлений.

Тут г-жа Эпсен указала на стол, где лежала небольшая книжка с золотым обрезом — «Утренние часы» госпожи со следующим эпиграфом: «Женщина погубила мир, женщина его и спасет». Требовалось два перевода, английский и немецкий, по три су за каждую молитву.

— Странный заказ, не правда ли? — сказала Элина, не отрывая глаз от тетрадки Фанни и продолжая исправлять ее ошибки.

— Ничего особенного, Линетта, уверяю тебя... При такой оплате можно заработать порядочно, — благодушно возразила г-жа Эпсен, мало интересовавшаяся религией. Понизив голос, чтобы не мешать уроку, она начала рассказывать соседу об утренней посетительнице.

— Мадемуазель... как ее?.. Ее имя стоит на визитной карточке...

мадемуазель Анна де Бейль, особняк Отмана... Дворянская фамилия, скажите на милость! А ведь похожа скорее на крестьянку, на какую-нибудь ключницу, чем на знатную даму. И до того бесцеремонная, во все суется: спрашивала, с кем мы встречаемся, много ли у нас знакомых, а потом увидела на камине фотографию Лины и заявила, что у нее слишком веселое лицо.

— Слишком веселое? — с возмущением воскликнул Лори; его, напротив, огорчало, что со времени смерти бабушки светлая улыбка Элины потускнела.

— Ох, она мне столько всего наговорила!.. Будто мы ведем суетную, пустую жизнь, будто мало думаем о боге... проповедь, настоящая проповедь, с широкими жестами, с текстами из евангелия... Жалко, нет Генриетты, они бы поучали нас тут на два голоса.

— Мадемуазель Брис уехала? — спросил Лори; ему была симпатична эта сумасбродная девица, вероятно, оттого, что она восхищалась его практичностью.

— Да, княгиня Суворина неделю тому назад взяла ее в компаньонки и увезла с собой. Прекрасное место... и нет детей в семье.

— Вероятно, она довольна?

— Наоборот, в отчаянии. Мы получили от нее письмо из Вены... Она тоскует о своей жалкой конуре в приюте Шерш-Миди. Бедняжка Генриетта!

Снова вспомнив об утренней гостье, которая упрекнула их в равнодушии к богу, добрая женщина продолжала:

— Во-первых, говорить так про Лину просто несправедливо. Каждое воскресенье она играет на органе в храме на улице Шоша и не пропускает ни одного собрания. Ну, а я, посудите сами: разве было у меня время ходить в церковь?.. Пусть бы попробовала эта святоша де Бейль остаться одна в чужом городе с ребенком и старушкой матерью на руках! Мне приходилось бегать по урокам с раннего утра до поздней ночи во всякую погоду, по всему Парижу. Вечером я с ног валилась от усталости, у меня не было сил ни думать, ни молиться. Разве заботы о семье не благочестие своего рода, разве это не угодно богу, что я своими трудами устроила матушке счастливую старость, что я дала Лине хорошее образование, которое теперь помогает ей найти заработок? Милая моя девочка! Ей не грозят в юности те тяжелые испытания, какие достались на мою долю.

При воспоминании о былых невзгодах г-жа Эпсен оживилась и начала рассказывать об уроках по двадцать су, которые ей приходилось давать таким же беднякам, как она сама, в темной комнате при лавке, о занятиях

немецким языком в обмен на уроки французского, о нелепых требованиях родителей, о молоденькой ученице, страдавшей ожирением, — с ней надо было заниматься во время прогулки и без усталости водить ее по улицам, от площади Звезды до Бастилии, повторяя неправильные глаголы под холодным ветром и дождем. Так тянулись долгие годы нужды, лишений, унижительной бедности; г-же Эпсен приходилось носить старые, линялые платья, жертвовать завтраком, чтобы сберечь шесть су на омнибус, вплоть до того дня, когда она поступила учительницей в пансион г-жи де Бурлон... модный, дорогой пансион, где воспитывались дочери банкиров и богатых коммерсантов-Леони Ружье, ныне графиня д'Арло, Дебора Беккер, ставшая впоследствии баронессой Герспах. Там же училась эта странная, красивая девушка Жанна Шатлюс, ревностная протестантка, которая всегда носила с собой карманную Библию и на большой перемене во дворе вела со своими подругами долгие беседы о религии. Ходили слухи, что она скоро обвенчается с молодым миссионером и вместе с ним уедет в Африку обращать в христианство басутов. И вдруг Жанна неожиданно ушла из пансиона, а через три недели стала... супругой г-на Отмана.

Лори взглянул на собеседницу с удивлением.

— Ну да!.. — продолжала г-жа Эпсен, усмехаясь. — Сами понимаете: если выбирать между миссионером без гроша за душой и богатейшим парижским банкиром... Впрочем, чтобы решиться на этот брак, требовалось большое мужество. На Отмана страшно смотреть... У него по всей щеке огромный лишай, который он прикрывает черной шелковой повязкой. Это наследственный недуг в семье Отманов, все они страдают кожной болезнью. У его матери лишай был на руках, днем и ночью она носила перчатки до локтей. У Беккеров, их родственников, то же самое. Но сын обезображен больше всех: надо страстно любить деньги, чтобы выйти замуж за такого уroda.

Тут из бабушкиного уголка раздался нежный голос Лины, которая, окончив урок, перелистывала «Утренние часы»:

— Откуда ты знаешь, мама? Может быть, она поступила так вовсе не из жажды разбогатеть, а из жалости, из самоотвержения, может быть, ей хотелось скрасить жизнь этому несчастному?.. Люди так злы, так близоруки в своих суждениях!

Склонив над книжкой свое милое, чуть побледневшее бархатистое личико, обрамленное пышными золотистыми косами, девушка вдруг воскликнула, обратившись к матери:

— Смотри, мама, тут, кажется, про меня, про чересчур веселую барышню... Послушай: «Смех и веселье — удел душ неправедных. Наши

сердца не нуждаются в них, ибо господь ниспослал нам мир и благодать».

— В самом деле, я ни разу не видела, чтобы Жанна Шатлюс смеялась, — заметила мать. — Теперь понятно, раз именно она написала эту книгу...

— А вот изречение, еще более удивительное, — перебила ее Лина, выпрямившись в кресле, и, вся дрожа от негодования, прочла: — «Любовь к отцу, к матери, мужу и детям — любовь обманчивая; все они смертны и недолговечны. Привязаться к ним сердцем — значит поступить неразумно».

— Какие *крупости*! — воскликнула г-жа Эпсен, в речи которой, когда она сердилась, явственнее слышался иностранный акцент.

— Слушайте дальше, — продолжала Элина, отчеканивая слова: — «Поистине разумно поступает тот, кто возлюбил Христа, возлюбил только его одного. Спаситель не обманет вас, Христос живет вечно, но он ревнует к нашим земным привязанностям, он требует полной, безраздельной любви. Вот почему мы должны отречься от земных кумиров, изгнать из сердца все, что могло бы соперничать с господом...» Слышишь, мама? Любить друг друга грешно... Ты должна вырвать меня из своего сердца, Христос стоит между нами, нас разъединяют руки распятого на кресте... Да это просто возмутительно! Ни за что не стану переводить такую гадость!

Эта гневная вспышка так была несвойственна мягкой, уравновешенной натуре Лины, что Фанни, стоявшая рядом, вздрогнула от испуга, и ее худенькое личико побледнело.

— Да нет!.. Нет!.. Я не сержусь, деточка, — ласково сказала Элина, усаживая малютку на колени и прижимая к себе с такой нежностью, что Лори, сам не зная почему, вспыхнул от удовольствия.

— Ну, что ты, Линетта, стоит ли волноваться! — сказала мать, уже успокоившись. — Разве можно принимать к сердцу все, что услышишь или прочтешь! Эта дама и вправду сочинила дурацкие изречения, но нам же это не помешает любить друг друга.

И они обменялись взглядом, полным того безграничного понимания, какое существует только между кровными родными.

— Нет, все равно, — заявила рассерженная Лина. — Бредовые идеи заразительны и могут принести много зла... Это опасно для слабых душ, для юных существ...

— Пожалуй, я разделяю мнение мадемуазель Элины, — сказал Лори, — хотя, с другой стороны...

Г-жа Эпсен пожала плечами:

— Оставьте, пожалуйста!.. Да кто же будет читать такую чепуху?

По ее словам, эта книжка имела так же мало значения, как тоненькие англиканские брошюры, которые суют в руки публике на Елнсейских полях заодно с прейскурантами магазинов и ресторанов. Кроме того, тут имеется и практическая сторона (г-жа Эпсен не стеснялась обсуждать семейные дела в присутствии Лори). Так вот, при оплате по три су за текст можно заработать немало. Они примутся за перевод вдвоем с дочерью, а вслед за этой книжкой последуют новые заказы. При их стесненных средствах неразумно пренебрегать добавочным заработком, надо скопить денег хотя бы на приданое для Лины.

Недослушав их разговор, Лори неожиданно поднялся с места.

— Пойдем домой, Фанни, пожелай дамам спокойной ночи...

Гостеприимный дом Эпсенов, самое уютное для него место на свете, где так дружественно относились к нему, к его детям, вдруг показался ему мрачным и чужим. Он почувствовал себя здесь посторонним, незванным гостем, а все потому, что добрая г-жа Эпсен заговорила при нем о замужестве Лины, как будто он настолько стар, что с ним можно уже не считаться.

Что ж, конечно, эта прелестная девушка выйдет замуж; она скоро выйдет замуж, и супруг будет по праву гордиться ею. Какая она серьезная, образованная, стойкая! Сколько в ней благоразумия, чуткости, доброты! Она достойна самого большого счастья. Но почему-то мысль о замужестве Элины глубоко огорчала его и не давала покоя до позднего вечера, когда он уединился в своей маленькой комнате, выходящей окнами в сад. Спальня детей была рядом, и он слышал оживленную болтовню дочурки, которая рассказывала няне Сильванире, раздевавшей ее на ночь, о том, что произошло наверху. «И тогда мадемуазель сказала... и тут мадемуазель рассердилась...» Элина занимала такое огромное место в жизни маленькой сиротки! А ведь после замужества у нее пойдут свои дети, ей некогда будет заниматься чужими. Бедный Лори вспомнил, как чудесно преобразилась их квартира, когда Элина пришла им на помощь в тяжелую минуту.

Чтобы отвлечься от печальных мыслей, он принялся наводить порядок у себя в столе, «сортировать документы», по его выражению. Это было его любимое занятие, лучшее лекарство от уныния и тревог. Оно состояло в том, что он разбирал и классифицировал бумаги в пронумерованных зеленых папках с различными наклейками: «Деловые документы», «Семейный архив», «Политика», «Разное». С тех пор как драгоценные папки давно уже не пополнялись новыми документами, он ограничивался тем, что наклеивал другие ярлычки, перекладывал пачки бумаг из синей

обложки в коричневую, и это его вполне удовлетворяло.

В этот вечер он достал пачку в большом конверте, на котором было начертано, точно на гробовой доске, имя «Валентина». Здесь было все, что осталось у него от покойной жены, все ее письма за время болезни — раньше супруги никогда не разлучались. Множество писем, и все очень длинные. Первые письма, еще не слишком грустные, были полны нежных забот о здоровье детей, о здоровье мужа, а также хозяйственных распоряжений, обращенных к Ромену и Сильванире, словом, полны беспокойства матери о семье, оставшейся без присмотра. Но постепенно в письмах начинали проскальзывать жалобы, вспышки болезненного раздражения. Больная изливала свое отчаяние, гнев, возмущение безжалостной судьбой, недоверие к врачам, которые нарочно ее обманывают.

И среди стонов и рыданий — постоянные заботы о доме, о детях, поручения в приписке к Сильванире: «Не забудьте перебить матрасы...» Строчки на пожелтевших листках, порою расплывшиеся от пролитых слез, все менее четкие, неуверенные, с неровным нажимом, обличали слабеющую руку бедняжки, свидетельствовали о неумолимом, роковом ухудшении болезни. Почерк последнего письма так же мало походил на почерк первого, как печальное, осунувшееся, изможденное лицо в камерке с выбеленными известью стенами, которое увидел Лори в доме арендатора в Амбуазе, — на свежее прелестное лицо его жены, когда он провожал ее на пароход всего год тому назад и когда на нее заглядывались моряки в порту.

Это прощальное письмо было написано после его отъезда в Париж, куда она послала его хлопотать о месте, хотя уже чувствовала, что скоро умрет. «Поверь, я отлично знала, что все кончено, что мы не увидимся больше, но я заставила тебя поехать в Париж, к министру, ради тебя, ради наших детей... Боже мой, как грустно, что нам нельзя провести вместе эти последние, считанные дни!.. Как ужасно, имея мужа и двоих детей, умирать в одиночестве!» После этой отчаянной жалобы шли слова, исполненные смирения, покорности судьбе. Так же разумно, терпеливо, как в былые дни, жена ободряла его, утешала, давала советы: ему, без сомнения, предоставят хорошее место, правительство не захочет лишиться такого опытного администратора. Но дом, хозяйство, воспитание детей — все, чем некогда заниматься мужчине, поглощенному делами, — вот что беспокоило умирающую. Сильванира замужем и, конечно, рано или поздно покинет их, к тому же, при всей своей преданности, она всего лишь простая служанка.

Осторожно, деликатно, словно долго, с трудом подыскивая слова, ибо вся страница полна была пропусков и помарок, она писала, что ему следует еще раз жениться, позже, со временем... Ведь он еще молод. «Только смотри, выбирай осторожно, дай нашим детям настоящую, любящую мать».

Ни разу еще это последнее напутствие, которое он часто перечитывал после смерти жены, не производило такого впечатления на Лори, как в этот вечер, когда в тишине засыпающего дома он прислушивался к легким, мерным шагам в верхнем этаже. Там, наверху, кто-то захлопнул окно, задернул шуршащие занавески, а он все читал и перечитывал сквозь слезы одни и те же строки, расплывавшиеся у него перед глазами: «Только смотри, выбирай осторожно...»

V. ОСОБНЯК ОТМАНОВ

Те, кто видел особняк Отманов десять лет назад, еще при жизни старухи матери, с трудом узнали бы теперь красивый дом знаменитых банкиров, один из самых старинных в Маре, с его мавританской башенкой, возвышавшейся на углу улицы Паве, с прихотливым извилистым орнаментом высоких стен, с окнами разного размера, увенчанными фронтонами, с гирляндами вокруг слуховых окошек под высокой кровлей. В прежние годы этот особняк, превращенный, подобно многим старинным зданиям, в коммерческое учреждение, был полон жизни, деловой суеты, под широкие ворота то и дело въезжали в огромный двор и выезжали обратно крытые фургоны, доставлявшие товар из плавильных заводов Пти-Пора в парижский банкирский дом Отманов. В глубине двора, на широком каменном крыльце, стоял, заложив перо за ухо, старый Беккер, брат вдовы Отман, и отмечал в конторской книге свинцовые ящики со слитками золота — в те годы Отманы вели торговлю золотом на вес и поставляли его всем французским ювелирам, — между тем как в обширной зале нижнего этажа, расписанной сценами из мифологии, фигурами в облаках, за высокой, точно кафедра, конторкой восседала сама старуха Отман, зятая в рюмочку, в шляпке и длинных перчатках, поставив рядом с собой клетку с любимым попугаем. Внимательно наблюдая сверху за окошечками касс, за весами для взвешивания слитков, она время от времени кричала кому-нибудь из служащих своим резким, пронзительным голосом, заглушая звон золотых монет и говор клиентов:

— Моисеи! Проверь свой счет, у тебя десять сантиграммов лишних.

Но после смерти вдовы все здесь изменилось, исчезли даже висевшие по обе стороны от входных дверей черные мраморные дощечки с надписью золотыми буквами: «Торговый дом Отман, основанный в 1804 году» и «Продажа и покупка золота на вес». Теперь фирма производит только банковские операции и, воруя огромными капиталами, обходится без золотых слитков в свинцовых ящиках, а по пустынному мощеному двору вместо тяжелых фургонов лишь изредка проезжает со стуком карета Жанны Отман. Войдя утром в ворота особняка, чтобы отдать заказчице свои переводы, Элина была поражена торжественной тишиной старого здания.

Ее встретил привратник в длинном сюртуке с белым галстуком, похожий на церковного сторожа. Когда, пройдя через левый подъезд, она начала подниматься по старинной каменной лестнице с неровными

изгибами маршей, с узкими, точно в соборе, оконцами в нишах, и когда звук колокольчика, возвестивший о ее приходе, отдался громким эхом в гулкой пустоте тихих, безлюдных покоев, девушку охватило неизъяснимое волнение.

Вышедшая ей навстречу Анна де Бейль, сверля ее своими злыми глазками из-под густых нависших бровей, объявила грубым голосом, что председательница примет ее немного погодя.

— Вы принесли переводы? Давайте сюда.

И она скрылась за дверью между высокими простенками, когда-то покрытыми росписью, но теперь замазанными однотонной темной краской, более подходившей к мрачной обстановке приемной залы.

В ожидании Элина присела на одну из деревянных скамеек, вроде церковных, расставленных рядами вдоль стен и в глубине залы, вокруг фисгармонии, покрытой саржевым чехлом, но окна с цветными витражами пропускали такой тусклый свет, что девушка не могла как следует рассмотреть этой странной приемной и прочесть надписи на стенных панелях, где некогда порхали амуры; разбрасывая гирлянды роз, где танцевали Флоры и Помоны среди цветов и зелени.

Из соседней комнаты доносились жалобы, рыдания, сердитые, приглушенные голоса. Расстроенная этими звуками, Элина отодвинулась на дальний конец скамьи, но ее движение разбудило кого-то в тихой, пустой зале, и чей-то голос резко закричал у нее над ухом:

— Моисей!.. Моисей! Проверь свой счет!

В эту минуту дверь отворилась, и в луче света, проникшем из соседней комнаты, девушка увидела старого попугая в большой клетке, облезлого, с выцветшими перьями и лысой головкой, который всем своим видом подтверждал легенды о долголетию этих птиц.

— Председательница ожидает вас, мадемуазель, — сказала, пройдя мимо, Анна де Бейль, которая провожала до дверей какую-то высокую, бледную посетительницу со страдальческим выражением лица и красными заплаканными глазами, в дорожной шляпке с вуалью. Заметив попугая, который испуганно шарахнулся в угол клетки, старуха злобно накинулась на него:

— А, ты еще здесь, нечестивая тварь!

И она унесла клетку, яростно раскачивая ее на ходу, так что вода пролилась, а зерна в кормушке рассыпались. Несчастный попугай скрипучим, старческим голосом упрямо продолжал кричать во все горло:

— Моисей!.. Моисей! Проверь свой счет!

Девушка вошла в просторный кабинет со строгой канцелярской

мебелью, где за письменным столом сидела г-жа Отман; ее лицо с узким выпуклым лбом под гладко причесанными черными волосами, с тонким носом и сжатыми губами поразило Элину.

— Садитесь, дитя мое.

Голос у г-жи Отман был так же холоден, как цвет ее лица — бледного лица увядающей тридцатипятилетней женщины; ее стройная фигура была затянута не без кокетства в гладкое платье с монашеской пелеринкой такого же темного цвета и такого же покроя, как и у Анны де Бейль, но из более дорогого сукна. Выпрямившись в кресле, она неторопливо писала ровным почерком, запечатывала письма, звонила в колокольчик и передавала вошедшему слуге пачку конвертов, коротко указывая повелительным тоном: «В Лондон... В Женеву... В Цюрих... В Пор-Совер», — точно отправляла деловую корреспонденцию из торгового дома. Потом, словно утомившись, г-жа Отман откинулась на спинку жесткого кресла и, скрестив руки на пелеринке, с любезной улыбкой обратила на Элину холодные глаза, светившиеся синеватым блеском льдин.

— Так вот она какая, эта маленькая волшебница! — протянула она и начала расхваливать переводы, которые уже успела просмотреть. Никогда еще ее сочинения не были поняты так верно и переведены с такой точностью. Она выразила надежду, что Элина часто будет работать по ее заказу.

— Кстати, надо вам заплатить.

Жена банкира взяла перо и быстро, с ловкостью опытного счетовода, подсчитала сумму на уголке папки. Шестьсот текстов по пятнадцать сантимов. Столько-то за немецкий перевод... Столько-то за английский. Потом, вручив Элине чек, объяснила, что его оплатят внизу, в кассе. Девушка собралась уходить, но хозяйка, снова усадив гостью, заговорила с ней о ее матери, которую знавала в юности, в пансионе г-жи де Бурлон, и о внезапной, скоропостижной кончине бедной бабушки.

— Скажите мне по крайней мере, — спросила она Элину, глядя ей прямо в лицо пронизательными светлыми глазами, — успела ли она познать господу перед смертью?

Лина пришла в замешательство, так как не умела лгать, тем более, что председательнице как будто была известна вся их жизнь до мельчайших подробностей. Что же, бабушка и вправду не соблюдала обрядов. Особенно в последние годы, то ли из равнодушия к религии, то ли из суеверного страха, она никогда не говорила о боге, она всецело поглощена была земными заботами до самого конца своей угасавшей жизни. Потом наступила внезапная, скоропостижная смерть, и, когда пришел пастор, все

уже было кончено; покойницу обрядили, похолодевшее тело прикрыли белой простыней... Нет, по совести нельзя утверждать, что бабушка познала господа перед смертью.

— О бедная душа, лишенная божьей благодати! — воскликнула г-жа Отман изменившимся голосом, вскочив с места и молитвенно сложив руки. — Где ты теперь, бедная, нераскаянная душа? — зывала она в порыве ораторского вдохновения. — Как жестоко ты страдаешь, как проклинаешь тех, кто оставил тебя без помощи, без духовного напутствия!..

Она продолжала проповедовать, но Лина уже не слушала ее — расстроенная, со стесненным сердцем, с глазами, полными слез, она думала о том, что несчастная бабушка страдает на том свете по ее вине. Под спокойной внешностью Элины Эпсен таилась впечатлительная душа, душа сентиментальной, склонной к мистицизму женщины северных стран. «Бабушка страдает...» Сердце ее дрогнуло, и, не в силах сдержаться, она горько разрыдалась, ее нежное, детски округлое лицо распухло от слез.

— Полно, полно!.. Успокойтесь! — утешала ее г-жа Отман, подойдя ближе и взяв ее за руку. Пастор Бирк говорил ей, что Элина — девушка добродетельная и слывет истинной христианкой, но господь требует большего рвения, особенно от нее, раз она окружена людьми, равнодушными к религии. Элина обязана обратить их к богу, должна укрепить веру в самой себе, веру возвышенную, щедрую, охраняющую от зла, подобную могучему дереву, на ветвях которого гнездятся птицы небесные. Как этого достичь? Искать духовного общения с людьми истинно верующими, с теми, кто собирается вместе во имя Христа.

— Приходите ко мне почаще, либо сюда, либо в Пор — Совер, — продолжала председательница, — я всегда буду рада с вами побеседовать. В Париже у нас нередко бывают молитвенные собрания. Одна из моих *работниц*, — она произнесла это слово с ударением, — та, которую вы только что здесь видели, скоро будет публично исповедовать свою веру. Приходите непременно, ее призыв воодушевит вас, воспламенит ваше рвение... А теперь прощайте, я занята, время не ждет. — Г-жа Отман сделала жест рукой, как бы благословляя ее на прощанье. — А главное, не плачьте... Поручаю вас тому, кто прощает грехи и несет спасение!

Председательница говорила таким уверенным тоном, будто спаситель ни в чем не может ей отказать.

Элина вышла из особняка потрясенная. В своем смятении она даже забыла получить деньги по чеку и вернулась обратно к широкому крыльцу с тремя стеклянными дверями, наполовину затянутыми зеленой

драпировкой. Это была типичная банкирская контора, перегороженная решетками, с окошечками касс, с пачками ассигнаций на прилавках, полная посетителей, которые расхаживали по залу или сидели в ожидании. Но и здесь, как в приемной наверху, во всем чувствовалось что-то холодное и мрачное: в церемонной сдержанности служащих, в темной, однотонной краске, которой по приказу Жанны Отман замазали аллегорические фигуры в облаках на плафоне, в простенках, на фронтонах дверей — знаменитую роспись старинного особняка Отманов.

Элину направили к особому окошечку, над которым красовалась надпись «Пор-Совер». Когда она робко протянула чек в огороженную решетками кассу, какой-то господин, нагнувшийся к столу через плечо кассира, поднял голову, и девушка увидела жалкое, испитое лицо с ввалившимися глазами и черной шелковой повязкой на обезображенной щеке, лицо угрюмое и страдальческое. «Это Отман... Боже, какой урод!» — подумала Элина. «Не правда ли, урод?» — как будто спрашивал банкир, глядя на нее с горькой усмешкой.

Всю дорогу ее преследовала эта печальная, жалостная улыбка на изглоданном, точно у прокаженного, лице, и Элина терялась в догадках: как могла решиться молодая девушка выйти за такого урода? По доброте души, из естественного сострадания, которое испытывают женщины к обездоленным? Но г-жа Отман, суровая протестантка, казалась ей выше подобных слабостей и вместе с тем слишком благородной для низменных материальных расчетов. Что же тогда побудило ее пойти на этот брак? Однако, чтобы проникнуть в тайну этой странной замкнутой души, непроницаемой для всех, точно пустой храм, запертый на ключ в дни, когда нет богослужения, надо было знать всю жизнь Жанны Шатлюс, бывшей воспитанницы пансиона г-жи де Бурлон.

Она была уроженка Лиона, дочь богатого торговца шелком, компаньона фирмы Шатлюс и Трельяр, крупнейшего торгового дома в городе. Родилась она в Бротто, на берегах широкой Роны, светлой и веселой в низовьях, когда она втекает в Арль или Авиньон под звон колоколов и стрекот цикад. Но тут, в лионских туманах, под свинцовым, дождливым небом, бурные волны реки принимают мрачный оттенок, под стать здешнему народу, порывистому и холодному, экзальтированному и сумрачному, с сильной волей и склонностью к меланхолии. Жанна Шатлюс унаследовала все эти черты, а развились они у нее благодаря обстоятельствам и окружающей среде.

Мать ее умерла рано, и отец, занятый торговыми делами, поручил воспитание ребенка старой ханже, тетке, фанатичной протестантке,

помешанной на религиозных обрядах. У девочки не было никаких развлечений, кроме воскресной службы в храме или в дождливую погоду — а в Лионе постоянно идет дождь — общей молитвы в кругу семьи, в парадной гостиной с чехлами на креслах, которую отпирали только в такие дни и где собирались отец, тетка, гувернантка и прислуга.

Пока тетка бесконечно долго гнусавила молитвы и евангельские тексты, отец сидел, прикрыв рукой глаза, как бы углубившись в себя, а на самом деле думая о биржевых ценах на шелк. Жанна, серьезная не по летам, предавалась печальным мыслям о смерти, о загробном возмездии, о первородном грехе, а подняв глаза от молитвенника, видела в окне, за пеленой дождя, свинцовые волны Роны, мятежной и взбаламученной, точно море после бури.

При таком воспитании девочка тяжело перенесла переходный возраст, стала болезненной, малокровной. Врачи посоветовали увезти ее в горы, подольше пожить с ней в Энгадине, Монтрё, близ Женевы, или в одном из зеленых лесных поселков, которые отражаются в темной глубине унылого, замкнутого в теснине гор Озера Четырех Кантонов. Когда Жанне минуло восемнадцать лет, они с теткой провели несколько месяцев в Гриндельвальде, в Бернских Альпах; это небольшая деревушка на плоскогорье, у подошвы Веттергорна, Зильбергорна и Юнгфрау, чья остроконечная, сверкающая белизной вершина господствует над множеством снежных пиков и глетчеров. В Гриндельвальд заезжали путешественники, чтобы позавтракать, нанять проводника или лошадей. Целые дни по единственной крутой улочке подымались и спускались шумные толпы туристов с альпенштоками в руках. Они отправлялись в горы длинными вереницами по извилистым тропинкам, соразмеряя свой ход с медленным шагом лошадей, с тяжелой поступью носильщиков, а между оградами домов развевались синие вуали альпинисток. Тетушке Шатлюс удалось найти в саду одной из гостиниц уединенную дачу, в стороне от туристских троп, на опушке еловой рощи, свежий аромат которой сливался со смолистым запахом деревянных стен, — пленительный уголок у подножия вечных снегов, в иные часы отливающих нежными голубыми и розовыми тонами — отблеском небесной радуги.

Никаких звуков кругом, кроме отдаленного рева потока, бегущего по каменистому руслу, шипенья бурлящей пены, мелодии из пяти нот альпийского рога, отдающей эхом в горах, да глухого грохота лавины, когда пушечным выстрелом расчищают путь к глетчеру. Порою, после бушевавшего всю ночь северного ветра, наступало ясное утро, и легкий белый снежок покрывал прозрачным, узорчатым кружевом крутые склоны

гор, луга, еловые рощи. К полудню снег таял на солнце, растекаясь серебристыми ручейками, которые медленно струились по скалам, терялись в зеленой траве между камней или низвергались каскадами с крутизны.

Но красоты альпийской природы пропадали даром для Жанны и ее тетки; обе проводили целые дни взаперти, в нижнем этаже дачи, на молитвенных собраниях старых святош, английских и швейцарских пиетисток.^[7] При задернутых шторах, при зажженных свечах, они распевали гимны, читали проповеди, потом каждая из дам толковала какой-нибудь текст из Библии. Хотя среди постояльцев гостиницы «Юнгфрау» было немало пасторов и студентов-богословов из Лозанны и Женевы, но эти господа — почти все спортсмены из Клуба альпинистов интересовались только восхождением на горы. Они с утра отправлялись в путь с проводниками, обвешанные веревками и ледорубами, а по вечерам отдыхали за игрой в шахматы или за чтением газет; те, кто помоложе, даже танцевали под фортепьяно или пели игривые куплеты.

«И это наши пастыри!» — возмущались старые, седые ханжи, потрясая лентами своих безобразных чепцов. Вот если бы *им*, женщинам, поручили проповедовать Евангелие, они с жаром принялись бы за дело, воспламенили бы своей верой весь мир. Пиетистки постоянно обсуждали вопрос об апостольском призвании женщины. Почему женщина не может быть священником, раз существуют женщины-адвокаты, женщины-врачи? Надо признаться, что этих бесполох старых дев с бледными или багровыми лицами, с плоскими, как доска, фигурами в черных платьях и впрямь легко было принять за старых пасторов.

Жанна Шатлюс, окунувшись в атмосферу мистицизма, впитывала новые идеи со всем пылом юности и блистала красноречием на молитвенных собраниях в гостинице. Любопытно было послушать, как толковала священное писание эта хорошенькая, обворожительная восемнадцатилетняя девочка с гладко причесанными черными волосами над выпуклым лбом и тонкими губами, с упрямым, волевым выражением лица. Многие туристы нарочно прикидывались богомольными, чтобы прийти ее послушать, а служанку гостиницы, дюжую швейцарку в громадном тюлевом чепце, так потрясли проповеди девушки, что она совсем ополоумела: по утрам, проливая слезы в чашку шоколада, каялась в грехах, а когда подметала комнаты и мыла пол в коридорах, что-то громко выкрикала и пророчествовала.

Были и другие примеры благодетельного влияния Жанны. Крестьянин-проводник, Христиан Инебнит, разбившийся при падении в ущелье, уже

дней десять мучился в агонии, оглашая свою лачугу руганью и богохульством, несмотря на все увещания местного пастора. Жанна посетила больного и, усевшись на табуретке у изголовья, кротко и терпеливо подготовила несчастного к смерти, примирив его со спасителем; он заснул вечным сном так же тихо и безмятежно, как его любимый сурок под плетеным навесом впал в зимнюю спячку на шесть долгих месяцев.

Подобные успехи окончательно вскружили голову юной уроженке Лиона. Считая себя призванной к высокой апостольской миссии, она писала по вечерам в своей комнате молитвы и поучения, держалась все более сурово и отрешенно, говорила напыщенно, как на молитвенном собрании, всюду вставляла тексты и выдержки из Библии. «Женщина погубила мир, женщина его и спасет». Этот избранный ею гордый девиз, который она ставила впоследствии на своей почтовой бумаге, на внутренней стороне браслетов и колец, где другие женщины вырезают дорогие инициалы или заветную дату, уже тогда зародился в юной головке, полной неопределенных, туманных проектов, вроде создания общины евангелисток, полной смутных мечтаний, свойственных возрасту Жанны. Но тут случайная встреча окончательно определила ее жизненный путь.

Среди участниц молитвенных собраний особенно восторгалась ею одна женевская дама, мать студента-богослова, высокого, здорового малого, который готовился стать миссионером и ехать в Африку обращать в христианство басков. В ожидании он бурно наслаждался жизнью, взбирался на крутые пики, скакал верхом, пил швейцарские вина и во все горло *йодлировал* не хуже оберландских пастухов. Его мамаша, прослышав о богатстве барышни Шатлюс, решила, что это прекрасная партия для ее сына, и ловко повела дело к свадьбе, восхваляя при Жанне героизм молодого миссионера, готового ехать на край света, чтобы проповедовать учение Христа.

О, если бы ее бедный сын, покидая родину, имел счастье найти достойную супругу, истинную христианку, которая согласилась бы сопутствовать ему в евангельской миссии, помогать ему, заменять его в случае надобности! Какое возвышенное призвание для женщины, какое благородное поприще для служения Христу! Эта мысль, запав в голову Жанны, стала развиваться дальше сама собой, подобно тому, как пушистые цветы куколя, которые мальчишки засовывают себе в рукав, сами собой при каждом движении перекатываются все выше.

Хитрой мамаше помогло и то обстоятельство, что молодые люди приглянулись друг другу. Хотя малютка Шатлюс и отрешилась от всего земного, однако статная фигура молодого богослова и его энергичное,

загорелое лицо в белой студенческой фуражке произвели на нее сильное впечатление. Мало-помалу она привыкла думать о нем, приобщать его к своим планам на будущее, начала даже тревожиться во время его опасных горных восхождений. Часто, если он не возвращался к ночи, Жанна засиживалась у окна, глядя на огонек на неприступной высоте, далекий фонарик в одной из горных хижин, выстроенных Клубом альпинистов на всех высоких пиках, чтобы туристы могли найти там теплое пристанище и дощатую койку для ночлега.

Девушка, обычно такая холодная, думала с нежностью: «Он там... С ним ничего не случилось...» — и засыпала счастливая. Выросшая без матери, без ласки, не знавшая иных чувств, кроме любви к богу и ненависти ко греху, она сама удивлялась, что сердце ее бьется теперь не для одного Христа. Несомненно, к этой любви в большой мере примешивалось религиозное чувство. Обручаясь друг с другом без свидетелей у подножия вечных снегов, у моря льда, раскинувшегося застывшими волнами по всему горизонту, они изъяснялись высокопарно и торжественно, точно в храме. Их клятвы, их признания были холодны, как предвестник зимы — резкий сентябрьский ветер, дувший с севера, от которого перехватывало дыхание.

Они клялись принадлежать друг другу, посвятить все силы проповеди евангельского учения во славу истинного бога, а к их ногам катились камни морены, покрывая серой пылью синеватые льдины глетчера. Жениху оставалось учиться еще год, прежде чем принять духовный сан, а невесте предстояло за это время подготовиться к ее высокой миссии; они обещали писать друг другу каждую неделю. Обменявшись клятвами и условившись обо всем, нареченные стояли молча, рука об руку, прижавшись друг к другу. Студент, гораздо менее влюбленный, чем его подруга, дрожал от холода, подняв воротник куртки, а восторженная прозелитка горела лихорадочным огнем, и щеки ее пылали не менее ярко, чем алый отблеск заходящего солнца на высоких обледенелых вершинах Юнгфрау.

Целый год они обменивались письмами, наполовину любовными, наполовину богословскими, — точь-в-точь переписка Элоизы с Абеяром, [8] только исправленная и засушенная в протестантском духе. Твердо решив посвятить себя апостольской миссии, Жанна отправилась в Париж изучать английский язык и географию и на несколько месяцев, оставшихся до свадьбы, поступила в пансион г-жи де Бурлон. Как ни сильно отличалась скромная Жанна Шатлюс от богатых и кокетливых парижанок, на них все же производили впечатление ее фанатическая вера, вдохновенный взор пророчицы, а также молва об ее предстоящем браке с миссионером и

отъезде в далекие края. К тому же она пользовалась привилегией жить в отдельной комнатке за дортуаром, и по вечерам у нее собирались подруги из старших классов.

В этой комнате, а также в платановой аллее на большой перемене Жанна проповедовала слово божие, пуская в ход гипнотическую силу своего взгляда и красноречия. Упорно стремясь обращать в истинную веру, она завербовала нескольких пансионеров, среди прочих Дебору Беккер, высокую, рыжую еврейку, племянницу вдовы Отман. Красоту этой девушки с белым, нежным, как у всех рыжеволосых, цветом лица портила накожная болезнь, наследственная в семье торговцев золотом Отманов. При сменах времен года ее лицо, шея, руки покрывались кровоточащей экземой, как будто бедняжка расцарапала кожу в колючем кустарнике; ей приходилось по нескольку дней лежать в лазарете, где ее лечили мазями и присыпками.

«Это сочтется золото Отманов», — шептались пансионерки, завидовавшие ее огромному богатству. Но Жанна внушала больной, что это кара небесная, божий гнев на израильский народ, упорно отвергающий учение Христа. Она терзала слабохарактерную девушку своими проповедями, длинными богословскими поучениями и в пансионе и в тенистом саду поместья Пти-Пор, куда Дебора нередко увозила с собой подругу. Смятение дочери Израиля было так велико, что она готова была отречься от своей веры, бросить отца, родных, поселиться в пустыне, как апостол Павел, и жить там в палатке вместе с Жанной и ее мужем. Вот как умела уже тогда улавливать души юная евангелистка! Она отрывала сердце человеческое от земных уз, от естественных привязанностей и приносила его, еще трепещущее, истекающее кровью, в жертву Иисусу.

Тем временем в Лионе разразился финансовый кризис, торговый дом Шатлюс и Трельяр разорился дотла, и это событие в корне изменило брачные планы молодого богослова. Разрыв постарались объяснить самыми благовидными предложениями: слабое здоровье будущего миссионера не выдержало бы опасных путешествий в далекие страны, а в скромном приходе кантона Аппенцель, куда его назначили пастором, не могли найти достойного применения высокие добродетели и апостольское рвение мадемуазель Шатлюс.

Хотя Жанна никому не жаловалась и даже не показывала виду, этот подлый, унижительный отказ поразил ее в самое сердце. За те два месяца, что она пробыла еще в пансионе г-жи де Бурлон, никто, кроме Деборы, не подозревал о внезапной перемене в ее судьбе. Она по-прежнему проповедовала евангельское учение на большой перемене, по-прежнему

наставляла в вере старших учениц, но теперь под ее безмятежным спокойствием таилось глубокое отчаяние, презрение к мужчинам и ко всем людям; ее душу навсегда ожесточило это горькое разочарование в любви, первой и единственной любви в ее жизни. Однако и после тяжелого потрясения голова у нее осталась ясной, глаза горели все тем же вдохновенным, мистическим огнем. Девушка стала еще более религиозной, фанатичной, нетерпимой, цитировала самые мрачные библейские тексты, говорила о небесной каре, о вечном проклятии. И по-прежнему, ропща и негодуя на свое бессилие и нищету, мечтала проповедовать христианское учение, обращать неверных, спасти мир. Разве можно одной, без денег ехать к язычникам с апостольской миссией?

Одно время Жанна собиралась поступить диакониссой в монастырь на улице Рельи, но она знала устав и правила этой обители, знала, что главная обязанность монахинь — посещение бедняков и уход за больными. В ней же человеческие несчастья и нужда всегда вызывали отвращение, она считала жалость чувством греховным, а страдания нравственные и физические — испытаниями, которые ниспосланы нам свыше и приближают нас к богу.

В один из четвергов Жанну Шатлюс вызвали в приемную, где ее ждала старуха Отман в своей неизменной белой шляпе и светлых перчатках. Узнав о расторгнутой помолвке с миссионером, она приехала просить девушку выйти замуж за ее сына. Жанна потребовала неделю на размышление. Ей часто приходилось встречать в поместье Пти-Пор этого высокого, молчаливого юношу, который за обедом, стесняясь своего недуга, пытался прикрыть рукой черную повязку на изуродованной щеке; как это бывает у людей в маске или с полузакрытым лицом, взгляд его казался необыкновенно пламенным и выразительным. Жанна вспоминала о молодом человеке без особого отвращения. Теперь все мужчины были для нее одинаковы. Все они в ее глазах были заклеены уродством, нравственным или физическим. Но девушку прельщало богатство, громадное состояние Отманов, которое можно употребить на богоугодные дела. Она согласилась бы сразу, без колебаний, если бы ее не останавливала мысль выйти за еврея, за нечестивца. Однако после часового разговора с глазу на глаз с молодым Отманом, влюбленным в нее без памяти, все ее сомнения рассеялись, и свадьба состоялась, но не в синагоге, а, к великому негодованию всего Израиля, в протестантской церкви.

Выйдя замуж, Жанна при помощи несметного богатства Отманов тотчас принялась ревностно распространять евангельское учение, но только не в Африке, среди кафров, а в самом Париже. Теперь касса

банкирского дома была в ее полном распоряжении: высокие трубы заводов Пти-Пора дымились днем и ночью, золото плавилось в тигельных печах, и во двор банка один за другим въезжали тяжелые фургоны, груженные золотыми слитками, которых хватило бы для выкупа христианских душ всего мира. Молодая хозяйка начала устраивать молитвенные собрания, сперва немногочисленные, у себя в гостиной на улице Паве, и вдова Отман, поднимаясь по вечерам в свои покои, слышала, как там пели гимны под аккомпанемент фисгармонии. На лестнице ей попадались какие-то странные личности с глазами одержимых, голодные, жалкие, в обтрепанных костюмах, в забрызганных грязью плащах — унылое, покорное стадо новообращенных. Вдову банкира несколько удивляло, что молодая, хорошенькая женщина, отрекшись от света, ведет такую строгую, затворническую жизнь, но сын ее был счастлив, а подобные чудачества — кто знает? — может быть, даже охраняли жену бедного калеки от более опасных увлечений, поэтому старуха вместо того, чтобы препятствовать невестке, напротив, всячески помогала ей в ее миссионерской деятельности. О, если бы она только знала, что одним из первых и самых пылких ново*обращенных был супруг Жанны и что он ждал только смерти матери, чтобы публично отречься от своей веры и перейти в христианство!

Принятие еврея Отмана в лоно протестантской церкви в храме Оратории было одним из нашумевших событий конца империи. С этого дня каждое воскресенье на скамье членов приходского совета, против кафедры проповедника, появлялось узкое, испитое лицо с повязкой на обезображенной щеке — лицо знаменитого торговца золотом. После обращения Отмана в христианство авторитет Жанны в обществе сильно укрепился. Она слыла «протестантской г-жой Гной»; ее праведная жизнь, неустанная, кипучая деятельность внушали уважение даже тем, кто считал ее религиозную экзальтацию помешательством. Чтобы распространять учение Христа по всему Парижу, жена банкира наняла в густонаселенных кварталах обширные залы, где выступала с проповедью по нескольку раз в неделю. Первое время единственной ее помощницей и последовательницей была старая дева, бывшая сиделка и кастелянша в пансионе г-жи де Бурлон, ярая кальвинистка, родом из шарантонских дворян, разорившихся во время религиозных гонений и вернувшихся в крестьянскую среду.

Анна де Бейль отличалась диким, злобным фанатизмом эпохи религиозных войн. Угрюмая, подозрительная, с недоверчивым взглядом, она равно готова была и на борьбу и на мученичество, не боялась ни смерти, ни насмешек. В дни проповедей эта женщина с грубыми манерами и провинциальным выговором без стеснения заходила в мастерские,

прачечные, даже в казармы, сыпала деньгами, где нужно, лишь бы позвать побольше народу на молитвенные собрания.

Между тем старинный особняк на улице Паве неузнаваемо изменился. Сохранив внизу банкирскую контору, Жанна Отман закрыла торговлю золотом, чтобы искоренить еврейский дух в доме. Дядюшка Беккер перенес свою коммерцию в другое помещение; плавильные заводы Пти-Пора или, по-нынешнему, Пор-Совера, разрушили, а на их месте построили протестантскую церковь и евангелические школы. В скором времени от прежнего домашнего уклада вдовы Отман остался лишь дряхлый попугай, которым в память матери очень дорожил банкир. Анна де Бейль, напротив, ненавидела несчастную птицу, щипала ее, гоняла из комнаты в комнату и всячески преследовала, как последнее отродье нечестивого племени, живое подобие старой торговли золотом, которую попугай действительно напоминал пронзительным голосом и по-еврейски крючковатым клювом.

VI. ШЛЮЗЫ

— Ромен!.. Вот он, Ромен!

На радостный возглас малютки Фанни из окон поезда, подходившего к станции Аблон, высунулось множество веселых, оживленных лиц парижан, которые в это ясное солнечное утро, в понедельник на пасхальной неделе, впервые в сезоне вырвались из города на праздничную весеннюю прогулку. Забавный вид маленького человечка с обезьяньими ужимками, улыбавшегося во весь рот, еще усилил общее веселье, и по всем вагонам раздались оглушительные крики на разные голоса: «Вот он, Ромен!.. Здорово, Ромен!.. Ай да Ромен!..»-а шлюзовой мастер, весь красный от смущения, стоял на платформе станции, упиваясь своей минутной славой.

— Господи боже! Да чего они к тебе привязались, муженек? — воскликнула испуганная Сильванира, выскакивая из вагона с маленькой Фанни на руках.

— Весело им, вот они и радуются, — отвечал Ромен, — а уж я-то как рад, разрази меня гром, просто себя не помню!

Поднявшись на цыпочки, он громко чмокнул жену в румяную щеку, что вызвало у пассажиров новый дружный взрыв смеха. Затем он бросился к г-же Эпсен с дочерью, но Лори, опередив его, уже помогал дамам выйти из вагона с такою же церемонной учтивостью, с какой в былые годы встречал на пристани Шершеля императрицу Евгению.

— А где Морис? — спросила Фанни, оглядываясь вокруг.

— Господин Морис на шлюзе, мамзель. Я оставил его с Баракеном, он там помогает шлюзоваться... Пожалуйте сюда, сударь, сударыни...

Взвалив себе на плечи верхнее платье и зонтики приезжих, Ромен направился к выходу мелкими шажками, едва сдерживая желание скакать и прыгать от радости, между тем как из поезда, выпускавшего клубы дыма, раздавались задорные крики: «- Ромен!.. Эй, Ромен!..»

Это была затея Сильваниры, которую разжалобил унылый, пришибленный вид ученика «Борда», вечно корпевшего над книгами: она придумала отправить его в деревню, на свежий воздух, и Лори согласился тем охотнее, что считал полезным для будущего моряка попрактиковаться на речных судах. Морис уже три недели жил на шлюзе, когда обе семьи решили, воспользовавшись праздничным, неприсутственным днем, навестить его всей компанией. Какая честь для Ромена принять у себя бывшего патрона и двух нарядных дам, какая радость ввести Сильваниру

под свой кров, в это уютное гнездышко, где, может быть, скоро... но тсс! Пока еще секрет известен только им двоим.

От Аблона до Пти-Пора не больше трех километров, omnibusы подают к каждому поезду, но Ромен, желая побаловать гостей, пригнал к станции шлюзовой катер — широкую, свежевыкрашенную зеленой краской лодку, в которой все с удобством разместились: на корме — малютка Фанни между Элиной и г-жой Эпсен, на скамье против них — г-н Лори, на носу — Сильванира в белом гофрированном чепце, заполнившая всю переднюю скамейку своим пышным платьем ярко-синего цвета, излюбленного цвета всех служанок. Ромен, проворный, как кошка, прыгнул последним и, оттолкнувшись ногой от берега, налег на весла. Лодка была тяжело нагружена, течение сильное.

— Вы же устанете, голубчик...

— Не беда, господин Лори!

Маленький человечек, радостно смеясь и морщась от солнца, принялся лихо грести, далеко откидываясь назад, доставая курчавым затылком до колен Сильваниры; он почему-то направил лодку к середине реки, на самую быстрину.

— Разве Пти-Пор на том берегу, Ромен?

— Прошу прощения, господин Лори... Это я из-за цепи...

Никто не понял его слов, пока, внезапно бросив весла, он не прицепил лодку багром к последней барже длинного каравана судов на буксире, который проходил здесь каждое утро в этот самый час. Одно удовольствие — плыть так, без весел, без толчков, плавно скользя по воде! Стук машины и скрежет цепи на палубе буксирного парохода доносились откуда-то издали, сливаясь с равномерным, убаюкивающим шумом широкой струи за кормой, которая, бурля пеной, растекалась к берегам. Под ясным небом, в свежем утреннем воздухе, по обеим сторонам реки быстро мелькали деревенские поля с редкими белыми домиками и рожи, зеленевшие нежной весенней листвой.

— Как тут хорошо! — воскликнула Фанни, продев ручку под локоть Элины, и этот детский голосок выразил общее чувство. Всем было хорошо. Под ласковым воздействием умиротворенной природы лицо молодой девушки впервые после постигшего ее горя заиграло румянцем, расцвело юной, радостной улыбкой. Г-жа Эпсен, как все люди, много испытавшие, утомленные жизнью, спокойно наслаждалась отдыхом в праздничный день. Лори любовался легкими завитками золотистых волос Элины на висках, на лбу, на шее и думал, что его дочка, нежно прижимаясь к молодой девушке, как бы сближает их друг с другом. Но больше всех радовался Ромен: сидя

рядом с женой на носу лодки, он о чем-то с ней шептался, изредка с лукавой улыбкой поглядывая на корму.

— А вот и Пти-Пор! — объявил он вскоре, указывая рукой на одну из деревень с однообразными красными кровлями, рассеянных на безлесных склонах, среди огородов и цветочных грядок, которые тянутся от самого Аблона по правому берегу Сены. — Через четверть часа мы будем у шлюза.

На крутом берегу постепенно открылся их глазам старинный помещичий дом с колоннами и балюстрадами, с длинным рядом серых решетчатых ставен, с аллеями подстриженных буков, с газоном в виде полумесяца, окаймленным тумбочками на цепях, перед главным подъездом. За домом, вверх по склону горы, раскинулся громадный парк, целый лес высоких деревьев всевозможных пород, разделенный посередине старой каменной лестницей, полуразрушенной, поросшей травой, с двойными, изогнутыми дугою перилами. Сквозь редкую весеннюю листву на вершине горы виднелось белое здание с массивным каменным крестом — не то фамильный склеп, не то часовня.

— Имение Отманов... — объяснил Ромен в ответ на удивленные взгляды гостей.

— Значит, это Пор-Совер? — живо спросила Элина.

— Ваша правда, мамзель. Так здесь называют ихний замок. Чудной у них дом, доложу я вам... А уж в деревне что творится! Пожалуй, во всем департаменте Сена-и-Уаза, да и во всей Франции такого места не сыщешь.

Девушку вдруг охватило непонятное гнетущее чувство, омрачив для нее отраду весеннего дня и чистого воздуха, пропитанного запахом фиалок; ей вспомнился особняк на улице Паве и суровые упреки г-жи Отман, сокрушавшейся, что бабушка умерла без покаяния. Элина не могла оторвать глаза от длинного ряда закрытых ставен, от мрачного, таинственного парка, над которым возвышался каменный крест усыпальницы. Почему судьба привела ее сюда? Была ли то простая случайность или указание свыше, перст божий?

Но вот за излучиной реки выросла роща, и поместье Отманов, постепенно уменьшаясь, скрылось вдали, как зловещее видение. Впереди уже белела плотина, перерезавшая реку полоской серебристой пены, слышался глухой шум, который все усиливался по мере приближения к щитам затворов, к узкой белой дамбе шлюзовой камеры, медленно растворявшей ворота на призывные сигналы буксирного парохода. Ромен показал Сильванире маленький домик на полосе бечевника, издалика — не больше игральной кости с черными точками окон и дверей.

— Вот он, наш дом! — прошептал он с умильным взглядом, отцепляя

лодку от буксира и поворачивая к причалу. Морис, помогавший шлюзовщику на дамбе, увидел их издалека и помчался навстречу, вопя, как дикий индеец, и махая фуражкой с выцветшим на солнце галуном, весь бронзовый от загара, окрепший, с красным, обветренным носом — заправский матрос; по словам Ромена, он здорово понаторел в работе.

— Эй, Морис!.. Как дела, ученик «Борда»? — радостно крикнул отец, не замечая, каким испугом всякий раз искажалось лицо бедного мальчика при малейшем намеке на его будущее призвание. По счастью, они уже подходили к одноэтажному домику шлюзовщика, из-за сильных наводнений возведенному на высоком фундаменте; к дому прилегал огород с аккуратно вскопанными зеленеющими грядками. Внутри, в большой комнате, стояли две узкие железные кровати — шлюзового мастера и его подручного, а в углу — телеграфный аппарат с деревянным циферблатом, стрелкой и ключом, установленный для связи со всеми шлюзами Сены. Рядом помещалась чистенькая кухня с блестящей металлической посудой, еще не бывшей в употреблении.

— Сами понимаете, покуда я живу холостяком... — говорил Ромен, объясняя, что он столуется в двух шагах отсюда, у Дамура, в «Голодухе», рыбацком трактире, который славится овощной похлебкой и жареными линиями. Там-то он и заказал завтрак для всей честной компании. Потом, отворив дверь напротив кухни, он с таинственным и гордым видом пригласил всех войти в большую темную комнату с закрытыми ставнями. Когда Ромен распахнул окно и солнечный свет хлынул в комнату, раздались восхищенные возгласы: гости увидели широкую кровать красного дерева, пестрый коврик с яркими розами и комод с большим зеркалом, в котором отражались ярмарочные безделушки, желтые обои с цветами и аляповатые картинки на стенах. Это был сюрприз для Сильваниры — супружеская спальня, обставленная шлюзовщиком на свои сбережения, тайком от жены. Он приготовил ей подарок к тому дню... к тому дню...

— Ну ладно! — перебила Сильванира, боясь, как бы Ромен не наговорил лишнего.

И она силком увела его из комнаты, пока дамы поправляли перед зеркалом шляпки и прически, растрепавшиеся от речного ветра.

Оставшись с Элиной и ее матерью, малютка Фанни сообщила им по секрету:

— А я знаю, почему Ромен так радуется... Они скоро поселятся здесь вдвоем... как только у нас будет новая мама.

Элина вздрогнула.

— Новая мама?.. Кто это тебе сказал?

— Няня Сильванира, когда одевала меня утром... Но тсс! Это большой секрет.

И Фанни убежала на зов брата.

Женщины переглянулись.

— Какой же он скрытный! — заметила г-жа Эпсен, улыбаясь.

— Что за безумие!.. Жениться в его годы! — возмутилась Элина, дрожащей рукой втыкая в прическу длинную гагатовую булавку.

— Что ты, Линетта! Господин Лори совсем не стар. Ему лет сорок, не больше. А на вид он даже кажется моложе. И такой симпатичный, такой воспитанный!..

Сорок лет! Элина считала его гораздо старше. Должно быть, солидный вид и чопорные манеры старили его в глазах девушки. Неожиданное известие о женитьбе Лори взволновало Элину только из-за ее горячей привязанности к Фанни; она любила девочку, как родное дитя, а та, чужая женщина, наверное, разлучит их. Но кто она, эта женщина? Лори никогда не упоминал о ней. И ведь он нигде не бывал, ни с кем не встречался.

— Постарайтесь расспросить его!.- сказала мать. — У нас целый день впереди.

Когда все сошлись вместе у дамбы, Ромен объяснял г-ну Лори устройство шлюза: показывал щиты затворов, поднимающиеся и опускающиеся при помощи рычага, железные скобы, вделанные в стену, по которым он спускался на дно в водолазном костюме, когда приходилось ремонтировать ворота шлюзовой камеры.

— Знатная выдумка эти шлюзы, разрази их гром! В былое время беднякам судовщикам приходилось летом по три месяца сидеть без работы; жены с детьми плакали от голода, а мужчины напивались с горя. Здесь, на реке, это гиблое время прозвали «голодухой», вот и у трактира такое же название. Ну, а теперь река судоход — на круглый год, и работы на всех хватает.

Лори следил за объяснениями шлюзовщика с важным, начальственным видом, точно супрефект, приехавший инспектировать свой департамент. Элина, не слушая Ромена, думала о малютке Фанни, которая заполнила пустоту их жизни как раз в то время, когда в ней начал пробуждаться материнский инстинкт. Для этой девочки Элина была настоящей матерью, терпеливой, внимательной, заботливой; она не только следила за ее учением — она выбирала фасон платьица, цвет шляпки, ленты для волос. Все эти заботы лежали на ней с тех пор, как Сильванира признала превосходство ее вкуса. А что же будет теперь?..

Раздался гудок. Матросы, наспех закусив, вернулись на палубу, и

буксирный пароход с белой в черную полосу трубой, почти касаясь выкрашенными суриком бортами стенок шлюзовой камеры, пыхтя и шипя, медленно тронулся в путь, таща за собой вереницу барж. Ворота шлюза затворились, вытолкнув потоки воды, и лязг буксирной цепи начал затихать вдаль, по мере того как уплывал караван судов, извиваясь и постепенно суживаясь, точно хвост бумажного змея. Прежде чем уйти с дамбы, Ромен представил гостям Баракена, своего подручного, или, как он говорил, «малого», хотя это название отнюдь не подходило загорелому, морщинистому, старому матросу с Сены-и-Уазы, скрюченному ревматизмом, ходившему раскорякой, боком, точно краб. Старикашка пробормотал приветствие, обдавая всех запахом винной бочки, и с ним поспешили распрощаться.

Сам Ромен, как это ни удивительно для бывшего моряка, в рот не брал ни вина, ни водки. Правда, Ромен любил прихвастнуть, будто в молодости он был самым отчаянным пьянчугой во флоте, но после того как во время попойки набил морду каптенармусу и чуть было не угодил под военный суд, а может, и под расстрел, он дал себе зарок не пить ни капли спиртного и сдержал слово, хотя товарищи насмехались над ним, бились об заклад и всячески его дразнили. Теперь он водку просто видеть не мог, зато любил сладкие напитки, кофе с молоком, сиропы, оршады. И надо же было ему взять в подручные горького пьяницу — эдакая незадача!

— Да что тут поделаешь, — говорил шлюзовой мастер, провожая гостей завтракать в трактир, — разве он виноват, бедный старикан? Вся беда от ихнего замка... С тех пор, как они его «обратили», у него денег некуда девать.

— Обратили? Что это значит?

— Ну да... Всякий раз, как он сходит в церковь и причастится, барыня из замка Пти-Пор дарит ему сорок франков и сюртук... Вот что его сгубило, бедного малого.

Трактир «Голодуха», видневшийся издали, несколько выше шлюза, помещался на широкой площадке с решетчатыми беседками по углам и множеством снарядов для игр на открытом воздухе; тут были тир с забавными мишенями, игра в кольцо, бочонок, зеленый стояк для качелей, где висели трапеция и канат с узлами. Когда приглашенные вошли в трактир, вдыхая приятный запах похлебки, которую каждое утро готовили для матросов буксира, г-жа Дамур накрывала на стол в чистеньком отдельном зале с побеленными известкой стенами. Хозяйка, серьезная, опрятно одетая женщина, встретила их с достоинством, почти сурово и улыбнулась только Ромену, своему «любимому клиенту».

Пока она ходила хлопотать по хозяйству, шлюзовой мастер рассказывал, понизив голос, что в прежние времена не было здесь семьи веселее и счастливее Дамуров, но потом у них померла дочка, пригожая барышня, ровесница мамзель Элины. Отец с горя запил, под конец и вовсе спился, так что угодил в сумасшедший дом в Воклюзе, ну, а хозяйка осталась одна-одинешенька, уж ей-то теперь не до смеха, разрази меня гром.

— Отчего же умерла бедная девушка? — с испугом спросила г-жа Энсен, невольно оглянувшись на свою цветущую девятнадцатилетнюю дочь.

— Разное болтают, — продолжал Ромен с таинственным видом, — говорят, будто барыня из замка Пти-Пор опоила ее каким-то зельем... — В ответ на возмущенный жест Элины он прибавил: — Кто их знает? Это я от ее матери слыхал... Что там ни говори, а девочка и вправду померла в замке, и по всей округе до сих пор об этом толкуют, хоть и много лет прошло...

Тут хозяйка принесла в кастрюле аппетитно поджаренного великолепного линя, которого поймал Ромен в установленной законом стометровой полосе вверх и вниз по течению от шлюза. Вкусный запах этого деревенского блюда, болтовня Ромена, аппетит, разыгравшийся после прогулки по реке, — все это отвлекло внимание собеседников от мрачной местной легенды. Свежий ветер, подымая рябь на Сене, проносился над площадкой и рассеивал мельчайшие серебристые брызги, которые отсвечивали, сверкая и переливаясь, на стаканах, графинах, на грубой желтой скатерти стола. Легкое бургундское вино, которое судовщики привозят в прибрежные трактиры в уплату за стол и кров, придало еще больше веселья этой семейной пирушке, оживленной звонким детским смехом и радостной болтовней Ромена, пристроившегося у подоконника рядом с Сильванирой.

До чего ж был счастлив маленький шлюзовщик, что завтракает вдвоем с женой чуть ли не в первый раз за два года, со времени их женитьбы, — прямо свадебный пир! Но добряк не забывал при этом следить за подачей блюд, бегать на кухню, прислуживать дорогим гостям; «любимый клиент» даже захотел собственноручно сварить кофе по-алжирски — с гущей на дне чашки, как любил его бывший патрон. Когда он с торжеством опустил поднос на покрытый скатертью поставец, неожиданно задребезжали струны.

— Смотрите-ка... Фортепьяно!

Это оказался старый клавесин, купленный при распродаже в одном из

старинных замков, еще сохранившихся на берегах Сены. Когда-то знатные дамы в фижмах танцевали под его музыку гавоты и менуэты, а теперь подвыпившие парижане на воскресных пирушках в загородном кабачке барабанили на нем, отбивая последние клавиши, «Любовника Аманды» и «Дочку лгуна». Но под нежными пальцами Элины старомодный прелестный инструмент зазвучал по-прежнему, пожелтевшие клавиши слоновой кости зазвенели отрывисто и меланхолично.

Когда молодая девушка, ни разу со времени траура не подходившая к фортепьяно, начала наигрывать припев к старой песне «Дания, прекрасная страна, где так зелены и нивы и луга...» — можно было подумать, будто сама бабушка своим слабым, дребезжащим голосом вызывала на широком горизонте картины родной природы, свежие зеленые луга и колыхающиеся нивы.

Потом Элина заиграла Моцарта, и в ответ на певучие трели, похожие на щебетанье птичек, словно запертых в тесном ящике клавесина, раздалось с берега чириканье славок и трясогузок, порхавших в тростниках. Окончив одну сонату, девушка вспоминала другую, третью, наслаждаясь звучанием старинного инструмента, как вдруг, обернувшись, заметила, что они остались наедине с Лори. Ромен и Сильванира спустились на берег, чтобы поиграть с детьми, а г-жа Эпсен — чтобы выплакаться на свободе.

Лори остался в комнате слушать музыку, взволнованный до глубины души, гораздо сильнее, чем это подобало важному чиновнику министерства. Девушка была так хороша за клавесином, лицо ее сияло вдохновением, глаза блестели, тонкие пальчики бегали по клавишам. Ему хотелось продлить этот сладостный миг, остаться здесь навсегда, не сводить с нее глаз... Вдруг среди окружающего покоя и тихого журчания реки раздался детский крик, отчаянный крик ужаса.

— Это Фанни! — воскликнула Элина и, сразу побледнев, бросилась к окну. Но там, на берегу, уже слышался смех, громкий раскатистый хохот. Высунувшись в окно, Лори понял причину переполоха. Ромен, надев водолазный костюм, собирался спуститься на дно шлюза.

— Боже, как я испугалась!

По мере того как дыхание Элины становилось ровнее, на ее щеки постепенно возвращался румянец. Вся розовая в солнечных лучах, она облокотилась на перила балкончика и прикрыла рукой глаза.

— Как вы добры к моей дочке! — прошептал Лори.

— Да, правда, я люблю ее, как родную... — отвечала девушка. — И мне очень тяжело, что нам придется с ней расстаться.

Он испугался, припомнив, что г-жа Эпсен недавно говорила с ним о замужестве дочери, и робко спросил, боясь услышать правду:

— Расстаться с ней?.. Почему?

Элина помедлила с ответом, глядя куда-то вдаль:

— Потому что у нее будет новая мама...

— Кто вам сказал?.. У меня и в мыслях не было...

Но разве мог он выдержать этот ясный взгляд, устремленный прямо на него? Да, правда, иногда ему случалось думать об этом... Так тяжело жить одному, когда некому поведать свои заботы, не с кем поделиться радостью и горем!.. Так грустно в доме, где нет хозяйки!.. Сильванира уйдет от них рано или поздно, покинет детей, да она и не в силах заменить им мать. Сам же он, надо сознаться, не умеет вести дом, хотя при своих организаторских способностях мог бы управлять целой провинцией в Алжире.

Он говорил об этом просто, со смущенным видом, с доброй, доверчивой улыбкой. И, конечно, Элине гораздо больше нравилась в нем эта беспомощность и робость, чем его напыщенность и важность.

— Вот почему я по временам думал о женитьбе, но никогда ни с кем не говорил об этом... Просто не представляю, кто мог вам сказать...

— Добра ли она, по крайней мере, — та, о ком вы думали? — прервала его Элина.

— Она добрая, красивая, само совершенство... — весь дрожа, отвечал Лори.

— Будет ли она любить ваших детей?

— Она уже полюбила их...

Элина все поняла и в смущении умолкла.

Лори взял ее за руку и тихо, взволнованно начал изливать свою душу, сам не зная, что он говорит, но девушка угадывала в его бессвязных словах музыку и трепет любви. Слушая нежные признания, уверения, клятвы своего друга, Элина задумчиво смотрела вдаль, и перед ней словно разворачивалась вся ее жизнь, ровная и спокойная, как берега Сены, как прямые, правильные борозды зеленеющих полей, то освещенных солнцем, то покрытых тенью от облаков. Быть может, она мечтала о другом — о широких просторах, о бурной, деятельной жизни. В юности всех привлекают препятствия, опасности, дремучие леса Красной шапочки, качающиеся башни, на вершину которых взлетает Голубая птица. Зато в браке с г-ном Лори ничто не нарушит ее привычек, ее привязанностей. Она не разлучится с Фанни, никогда не расстанется с матерью.

— О, конечно, никогда!.. Клянусь вам, Элина!

— Тогда даю вам слово. Я буду матерью вашим детям.

Сами не зная как, они сразу сговорились обо всем, в одну минуту связали себя клятвой на целую долгую жизнь. Г-жа Эпсен, поднявшись на площадку, увидела, что они стоят рядом у окна, рука об руку, глядя вниз, на детей, и поняла все.

VII. ПОР-СОВЕР

Из всех деревень, расположенных на левом берегу Сены от Парижа до Корбея, из всех нарядных дачных поселков, носящих звучные наименования-Оранжис, Рис, Атис-Монс, только у Пти-Пора с его заурядным названием есть свое прошлое, есть своя история. Подобно Аблону и Шарантону, он был одним из важных центров кальвинизма в конце XVI века, одним из городков, где по Нантскому эдикту разрешено было собираться парижским протестантам. Каждое воскресенье в храм Пти-Пора съезжались важные господа протестантского вероисповедания, Сюлли, Роганы, принцесса Оранская, и вереницы тяжелых золоченых карет тянулись по мощеной королевской аллее между рядами вековых вязов. С церковной кафедры Пти-Пора выступали с проповедью знаменитые богословы. В храме совершались торжественные бракосочетания и крещения, знатные люди не раз отрекались здесь от католической веры, но слава городка длилась недолго.

После отмены Нантского эдикта^[9] кальвинисты были изгнаны, храм разрушен, и когда Самуэль Отман в 1832 году приехал сюда строить плавильные заводы, он нашел бедный, захолустный поселок, где не сохранилось иных воспоминаний о его славной истории, погребенной в пыли архивов, кроме названия пустыря на месте заброшенной каменоломни — «Кафедра проповедника». Именно здесь, на «Кафедре», на развалинах протестантской церкви, были построены плавильные заводы, в верхней части огромного владения, которое тогда же приобрел Отман, ибо торговец золотом уже в то время был богачом. Поместье — такая же историческая достопримечательность, как и поселок, — некогда принадлежало Габриэль д'Эстре,^[10] но и здесь ничего не сохранилось от прошлого величия, кроме старой каменной лестницы, потемневшей от солнца и дождей, с изогнутыми дугою двойными перилами, с обломками колонн, увитых черным плющом и диким виноградом, «лестницы Габриэль», имя которой вызывало в воображении призраки знатных вельмож и дам в ярких атласных платьях, мелькавших среди зелени.

Многие из деревьев парка были, вероятно, современниками знаменитой фаворитки, но деревья не рассказывают о прошлом, как старые камни; они теряют память вместе с листвою, облетающей каждую осень. О старинном замке д'Эстре было известно только то, что он находился наверху, что он возвышался над всем поместьем, а службы размещались на

берегу реки, там, где стоит теперь новый дом, расширенный и перестроенный Отманом.

К несчастью, несколько лет спустя после водворения банкиров через их поместье, как и через все прибрежные усадьбы между Парижем и Корбеем, проложили железную дорогу, которая перерезала вдоль берега Сены столько прекрасных старинных владений. Полотно Орлеанской железной дороги протянулось как раз перед парадным крыльцом, отрезав дом от цветочных клумб «и уничтожив две из четырех великолепных павловний, бросавших тень на цветники. И через перерезанное надвое роскошное имение, обе половины которого были соединены железными висячими мостами, чуть ли не каждый час проносились теперь с оглушительным грохотом поезда, оставляя за собой клубы дыма. Из окон вагона открывался вид на большую террасу, обсаженную шарообразно подстриженными апельсиновыми деревьями, и на семейство Отманов, отдыхавшее в американских креслах на свежем воздухе. Дальше виднелись конюшни из красного кирпича, застекленные теплицы и длинный, рассеченный пополам огород, тянувшийся вдоль рельсов, точно сад начальника станции.

Когда после смерти свекрови Жанна Отман стала полновластной хозяйкой в банке и в доме своего безвольного мужа, она обосновалась в поместье Пти-Пор, славное кальвинистское прошлое которого предвещало успех ее апостольской миссии. В загородном доме, как и в парижском особняке, она все переделала по-своему, вновь воздвигла в поселке протестантскую церковь, построила школы для мальчиков и девочек. После того как заводские рабочие уехали в Роменвиль, на новый плавильный завод дядюшки Беккера, население Пти-Пора сильно поредело: здесь остались крестьяне, огородники, виноделы да несколько мелких торговцев. Среди них-то и начала Жанна Отман с помощью Анны де Бейль свою миссионерскую деятельность. Старая дева ходила из дома в дом и сулила всякие блага — выгодную работу в замке, покровительство Отманов всем, кто будет посещать церковь и посылать детей в евангелические школы; она разъясняла, что школы бесплатные и при них имеются мастерские, где обучают подростков всевозможным ходовым ремеслам.

Чтобы устоять против столь заманчивых обещаний, нужны были твердые религиозные убеждения, которыми отнюдь не отличаются французские крестьяне. Сначала начали приходить дети, за ними потянулись родители, сопровождавшие их на воскресные молитвенные собрания. Первое время г-жа Отман, выступая с проповедью в домашнем кругу, справлялась одна, но вскоре для причащений, бракосочетаний и

похорон пригласила пастора из Корбея, робкого старика, находившегося у нее в полном подчинении, ибо властолюбивая Жанна желала управлять сама и церковью и школами. Когда несколько лет спустя старый пастор скончался, жене банкира, несмотря на все ее богатство и обширные связи в парижской консистории, стоило большого труда найти ему заместителя. Пасторы Пти-Пора, быстро наскучив отведенной им ролью чтеца или ризничего, сменялись один за другим, пока наконец г-же Отман не встретился г-н Бирк из Копенгагена, молодой карьерист, готовый на все, который знал французский язык ровно настолько, чтобы читать Библию и совершать обряды.

Жанна оставила за собой проповеди и толкование евангельских текстов. Можно себе представить, как поражены были крестьяне, когда на церковную кафедру вошла красивая барыня из замка! А уж как складно она говорила да как долго, точно заправский кюре! К тому же новый храм с высокими голыми стенами был куда лучше их старой католической церкви, да и самое имя Отманов, богачей-банкиров, чего-нибудь да стоило... Все расходились по домам потрясенные, взбудораженные, в поселке только и разговоров было о том, как молодая барыня «служит мессу». После богослужения владелица замка принимала посетителей в ризнице, участливо расспрашивала и, оставив торжественный тон проповедницы, самым простым, понятным языком давала практические советы.

Тем, кто соглашался перейти в протестантство, г-жа Отман установила премию деньгами и платьем, выдававшуюся в самый день причастия. Первым соблазнился почтальон, потом путевой сторож и его жена. Их принятие в лоно протестантской церкви было обставлено весьма торжественно, и, когда они пошли щеголять по деревне в новеньких суконных и шерстяных костюмах, позвякивая деньгами в кармане, многие крестьяне в надежде заручиться покровительством замка последовали их примеру.

Единственно кто мог бы противостоять в Пти-Поре этой неистовой пропаганде, — это католический кюре и сестра-монахиня. Бедняк священник с трудом перебивался в этом захолустье — жил скудными доходами с треб да еще, как говорили, ловлей рыбы, которую его служанка сбывала из-под полы в кабачки Аблона. Привыкший почитать богатых землевладельцев и влиятельных лиц своего прихода, он вряд ли осмелился бы выступить открыто против всемогущих Отманов. Правда, иногда в воскресной проповеди он позволял себе делать туманные намеки, посылал донесение за донесением в версальскую епархию, но церковь его, несмотря на это, пустела год от года, точно треснувший сосуд, из которого вытекает

вода, а в сильно поредевших классах католической школы немногие еще остававшиеся там мальчишки с увлечением играли в прятки между пустыми партами.

Упрекая кюре в малодушии, сестра Октавия, настоятельница школы для девочек, более горячая и порывистая, как все женщины, вступила в открытую борьбу с владельцами замка. Оставшись не у дел, она громко возмущалась, бегала в своем огромном чепце с развевающимися крыльями по деревне, сердито стуча длинными четками, и ловила бывших учениц у выхода из евангелической школы, стараясь зазвать их обратно:

— Как тебе не совестно, бесстыдница?

Монахиня отчитывала матерей на прачечном плоту, отцов на полевых работах, заклинала, призывала в свидетели бога, пресвятую деву, всех святых, грозила небесной карою, но крестьяне, не опасаясь с неба никакой кары, кроме солнца и дождя для посевов, только покачивали головой, лицемерно вздыхая:

— Оно конечно, сестра, уж это само собой... ваша правда!

Страсти разгорались особенно бурно, когда сталкивались лицом к лицу Анна де Бейль и сестра Октавия, типичные представительницы двух вероисповеданий: одна — тощая, желтая, озлобленная, точно мятежная фанатичка эпохи религиозных гонений, другая — толстая, представительная, с расплывшимся лицом и пухлыми руками, привыкшая жить в довольстве, под покровительством богачей. Однако здесь, в Пти-Поре, силы были неравные, ибо монахиня восстановила против себя замок.

В пылу борьбы сестра Октавия, забыв всякую осторожность, не стеснялась в выражениях. Мало того, она высмеивала проповеди г-жи Отман, она еще обвиняла владелицу замка в тяжких преступлениях: Жанна будто бы похищала детей и с помощью колдовства, насилия, тайного зелья принуждала их отречься от истинной веры. После внезапной загадочной смерти молоденькой Фелисии Дамур, служившей в замке, многие поверили этим слухам. Было даже возбуждено следствие, но дело кончилось только тем, что сестру Октавию перевели в другой приход. На ее место так никого и не назначили. Кюре, оставшись на своем посту, смиренно продолжал служить мессу в пустой церкви и, несмотря ни на что, при встречах почтительно кланялся Отманам, которые в сезон охоты присылали ему дичь к столу. «Эти люди могущественны... Приходится с ними считаться», — сказал ему епископ, и добрый старик, самим начальством освобожденный от ответственности, спокойно удил голавлей, ни во что более не вмешиваясь.

Странную картину представлял собою поселок в эти годы. Между

рядами одинаковых домов с красными кровлями, некогда выстроенных стариком Отманом для заводских рабочих, по аллеям молодых вязов, посаженных его снохой, чинно гуляли парами вереницы детей в черных люстриновых блузах под присмотром наставника в длинном сюртуке или девицы-надзирательницы в платье с пелеринкой, такой же, как у Анны де Бейль. Слуги замка тоже ходили во всем черном, с металлическим значком «П. С.»-«Пор-Совер»-на воротнике. Можно было принять Пти-Пор за колонию моравских братьев,^[11] гернгутеров^[12] или сектантов Ниески.^[13] Разница была только в том, что колонисты этих своеобразных религиозных общин — люди искренне верующие, а жители Пти-Пора — отъявленные лицемеры и пройдохи: зная, что за ними следят, они отлично умеют строить постные лица, сокрушаться о первородном грехе и пересыпать свою деревенскую речь цитатами из Библии.

Ох уж эта Библия!..

Вся округа пропитана библейским духом, стены просто сочатся святостью. Фронтон церкви, фасады школ, лавки всех поставщиков замка увешаны благочестивыми изречениями. Над врезкой мясника написано крупными черными буквами: «Умри здесь, дабы ожить там», а в бакалейной лавочке красуется надпись: «Возлюбите то, что превыше всего». Как раз превыше всего, на верхних полках, стоят там вишневые и сливовые наливки. Однако жители поселка не решаются их покупать из боязни попасться на глаза Анне де Бейль или ее тайным шпионам; когда крестьянам приходит охота кутнуть, они отправляются в Атис или к Дамуру, в трактир «Голодуха». Все они к тому же воры, лгуны, распутники и прохвосты, типичные уроженцы Сены-и-Уазы, умеющие с изумительным искусством скрывать свои пороки.

Пти-Пор, этот старинный протестантский поселок, по прихоти судьбы чудом возродившийся из пепла через триста лет, отличается от других протестантских поселений в окрестностях Парижа, от школ Версаля и Жуи-ан — Жоза, от земледельческих колоний Эссона и Плесси-Морней главным образом тем, что содержится не на пожертвования протестантских общин Франции, Англии, Америки, а исключительно на средства Отманов; он представляет собою их детище, их собственность и не подлежит поэтому никакому постороннему контролю.

Жанна Отман остается как бы первосвященником храма, тайной верховной властью, силой, вдохновляющей деятельность Анны де Бейль. За те восемь месяцев в году, что жена банкира проводит в своем замке, ее редко видят за пределами поместья. По утрам она разбирает обширную корреспонденцию Общества дам-евангелисток, или «Общины», как говорят

ее приближенные, принимает новообращенных, затем после полудня запирается в своей «Обители»-скрытом в глубине парка, уединенном павильоне, о котором ходит множество таинственных слухов. По воскресеньям она все свое время посвящает школам и церкви, белой церкви с тяжелым крестом, мрачной, как усыпальница, которая, возвышаясь надо всем, все подавляя собою, придает поместью суровый монастырский вид; это впечатление усугубляют образцовый порядок парка, чистота ровных, пустынных аллей, торжественная тишина в доме с закрытыми по всему длинному фасаду ставнями, тени от черной пелерины на песке дорожек или на каменных плитах крыльца, приглушенные звуки органа и гимнов, раздающиеся среди сонного оцепенения долгого летнего дня.

К вечеру замок немного оживает. Ворота распахиваются настежь, колеса шуршат по гравию аллеи, старая шотландская овчарка с лаем ковыляет навстречу въезжающей во двор карете. Это возвращается из Парижа сам банкир Отман, предпочитающий проехать лишний час в экипаже, лишь бы скрыть свое изуродованное лицо от любопытных взглядов на пригородном вокзале, который к пяти часам обычно кишмя кишит народом. Приезд хозяина на время вызывает оживление в замке; хлопают двери, слышится негромкий отрывистый разговор, звякает ведро на конюшне, конюх, насвистывая, понт лошадей; потом все замолкает, и в доме водворяется угрюмая тишина, изредка прерываемая грохотом и пыхтеньем курьерского поезда.

В то утро, чудесное, свежее майское утро, в замке царило необычайное оживление. Ночью шел град и бушевал ураган, ломая сухие сучья и свежие зеленые ветки деревьев; все крыльцо и аллеи перед домом были усеяны мелким хворостом, оборванными листьями и цветами вперемешку с осколками стекол оранжереи. Садовники, вооруженные граблями и тачками, с шумом сгребали ветки и битое стекло, посыпали дорожки песком.

Отман, который всегда вставал раньше всех в замке, так же как одним из первых приходил в банк, нетерпеливо шагал по террасе в шляпе и перчатках, озабоченный и взволнованный, что было не удивительно после такого разгрома в саду и гибели великолепных тепличных растений. Дойдя до ступенек крыльца, он каждый раз машинально поворачивал обратно, бросая взгляд на закрытые ставнями окна в спальне жены, и спрашивал у служанки, не встала ли барыня, потом опять начинал шагать из угла в угол, нервно почесывая, как обычно в минуты волнения, свой ужасный лишай под черной повязкой. В ясном розовом освещении раннего утра он казался

выходцем с того света; в его жгучем, страдальческом взгляде, который так поразил Элину Эпсен, увидевшую его впервые за решеткой кассы, в горькой, жалостной усмешке, кривившей ему губы, таился все тот же немой вопрос: «Безобразен, не правда ли?»

Безобразен! Это было проклятьем всей его жизни, кошмаром, навязчивой идеей, преследовавшей его с детства. Женитьба, обладание любимой женщиной на время исцелили его от этих мук. Опираясь на прелестную руку Жанны, как бы чувствуя себя от этого увереннее, банкир стал появляться всюду; он бывал в церкви, на бирже, принимал деятельное участие в заседаниях консистории, согласился даже занять пост мэра в Пти-Поре. Но потом он снова впал в ипохондрию, сделался еще более угрюмым и мнительным, скрывался от людей за стенами замка или за синими занавесками банковской конторы, однако по виду ничто как будто не изменилось в мирной, согласной жизни этих примерных супругов. Отман, по-прежнему влюбленный в жену, соглашался на все ее прихоти, безропотно оплачивал огромные счета «Общины». Жанна держалась с мужем ровно, приветливо, при встрече или прощанье неизменно подставляла ему для поцелуя свой гладкий белый лоб, охотно расспрашивала о финансовых операциях банкирского дома, ибо, как истая уроженка Лиона, умела сочетать мистицизм с практичностью.

Она рассказывала мужу обо всем, о теме своей завтрашней проповеди, о числе христианских душ, спасенных за прошлую неделю от вечной гибели, — она вела им точный учет в грессбухе под рубрикой «дебет и кредит». Однако в семейной жизни Отманов существовала какая — то тайна, словно негласный разрыв. Это было заметно по рассеянному, удрученному виду несчастного супруга, по пристальным, умоляющим взглядам, которые он бросал на Жанну, надеясь вызвать ответное чувство на ее безмятежном, улыбающемся лице. Как это ни удивительно, обычно столь строгая и требовательная, г-жа Отман никогда не спрашивала мужа, почему он перестал посещать молитвенные собрания, почему его не видно в храме на скамье членов приходского совета даже в дни причастия, на торжественном богослужении. По-женски осторожная, дипломатичная, как духовная особа, Жанна ловко избегала объяснений, он же молчал из гордости, а может быть, из боязни омрачить это прекрасное лицо — единственную радость его жизни.

Но сегодня Отман твердо решил положить этому конец, высказать все, что мучило его целых три года. Он нетерпеливо шагал взад и вперед по террасе или, облокотившись на перила, смотрел на проносившиеся мимо поезда.

Утренний курьерский поезд!..

Его приближение угадывалось издали по глухому сотрясению почвы, по свисту ветра, все сметавшего с железнодорожного полотна, усеянного вдоль прямой линии рельсов сорванными бурей цветами и зелеными ветками. Лужайка под павловниями была устлана ковром свежих весенних листьев, на котором так хотелось растянуться... Тайная мечта его юности — уснуть здесь, положив голову на рельсы, прижавшись к ним уродливой щекой, которую ничто не могло излечить... Отмана и теперь влекло туда неудержимо — перегнувшись через перила своим длинным телом, он с трудом преодолевал искушение. Но поезд уже промчался, как ураган, со свистом и грохотом, сверкнув желтой медью парового котла, мелькнув длинным рядом окошек, слившихся в одну линию, увлекая за собою в своем стремительном беге вихри пыли, искр и сухих листьев. А потом наступила тишина, все замерло, оцепенело, и на пустом железнодорожном полотне, вправо и влево, постепенно суживаясь, растянулись, убегая вдаль, черные, блестящие рельсы.

— Барыня ожидает вас в малой гостиной...

— Иду, — глухо ответил Отман, еще весь бледный, в холодном поту, словно очнувшись от тяжелого кошмара.

В маленькой приемной нижнего этажа с выцветшей зеленой атласной мебелью, сохранившейся еще со времени замужества старухи Отман, Жанна совещалась с Анной де Бейль, запивая свой завтрак холодным молоком на углу столика, заваленного книгами и бумагами.

— Останься!.. — шепнула она еле слышно своей помощнице, которая при появлении Отмана хотела удалиться. Подняв на мужа светлые глаза, глядя ему прямо в лицо, она спокойно поздоровалась:

— Доброе утро!.. Какая гроза была ночью!

— Да, ужасная гроза... Я боялся за вас, мне хотелось вас успокоить, но дверь вашей спальни была заперта... Как всегда, — прибавил он с горечью, понизив голос.

Жанна, как будто не расслышав, продолжала начатый разговор, макая в молоко ломтики хлеба.

— Ты в этом уверена, Анна?

— Конечно, если только Бирк не наврал, — отвечала Анна де Бейль своим обычным грубым тоном.;-Но по случаю траура свадьба состоится не раньше чем через три месяца.

— Три месяца... Ну, тогда мы успеем ее спасти.

Тут она обернулась к мужу, которого явно раздражало присутствие приживалки:

— Простите, дорогой друг... Но дело идет о спасении души... Это та милая девушка, Элина Эпсен. Помните, я вам о ней говорила?

Ну какое ему было дело до Элины Эпсен!

— Жанна! — начал он тихо, устремив на жену умоляющий взгляд, но, поняв, что она не хочет его слушать, резко повернулся к двери. — В таком случае прощайте, я ухожу.

Г-жа Отман остановила мужа повелительным жестом своей тонкой руки:

— Погодите... Мне нужно дать вам поручение. Анна, что, Ватсон согласилась выступить? — обернулась она к помощнице.

— Она еще упирается, но выступит непременно.

Жанна написала записку на листке со штемпелем.

Общества дам-евангелисток и прочла ее вслух:

«Дорогое дитя! В ближайшую среду миссис Ватсон будет публично исповедоваться. По этому случаю состоится молитвенное собрание на авеню Терн, 59, в зале Б. Очень надеюсь увидеть Вас там.

Преданная Вам во Христе...»

Подписавшись, она протянула письмо мужу, попросила отправить его в тот же день и дала еще несколько поручений: вернуть корректурные листы в типографию, дать заказ на триста экземпляров Библии и на столько же брошюр «Хлеб насущный», послать за настройщиком, чтобы тот проверил фисгармонию в зале Б. Что еще?.. Нет, кажется, все.

Досадуя, что разговор с женой окончился так неудачно, Отман обернулся с порога, хотел что-то сказать, но не решился и вышел быстрым шагом, яростно хлопнув дверью.

— Что это с ним? — удивилась Анна де Бейль.

— Все то же самое, — ответила г-жа Отман, пожав плечами, и прибавила:—Передай Жегю, что надо сменить задвижку в дверях моей спальни... Старая не держится.

— Должно быть, гроза сорвала ее ночью, — заметила Анна де Бейль. — Весь дом ходуном ходил.

Женщины обменялись холодным, понимающим взглядом.

VIII. ИСПОВЕДЬ ВАТСОН

В сумерках у остановки омнибуса на авеню Терн г-жа Эпсен с дочерью вошли в один из дворов рабочего квартала, освещенный тусклыми красноватыми фонарями за стеклянным транспарантом с надписью «Зала собраний евангелистов». При входе между двойными дверями, обитыми зеленой материей, какой-то человек раздавал посетителям книжки, брошюры, ноты вместе с программой вечернего собрания, которое только что началось.

Высокая обширная зала была совсем недавно переделана из мастерской, и на ее оштукатуренных стенах в резком свете газовых рожков еще виднелись кое-где темные следы печных труб и стенные ниши для инструментов. На сорока скамейках, наполовину пустых, сидела самая разношерстная публика: элегантные старые дамы, несколько иностранок, служащие банкирского дома Отман, бездельники из соседних дворов, предпочитавшие подремать здесь даром, чем за плату в кабачке, рабочие в блузах, подметальщицы улиц в косынках (в Париже они почему-то почти все протестантки), пять-шесть солдат с бритыми головами и красными ушами и, наконец, всякие оборванцы, нанятые за деньги по часам, пропойцы, попрошайки, подобранные на церковной паперти, с землистыми, отупелыми лицами, и среди них нищенка с кучей ребятишек в лохмотьях, — ребята, сидя рядышком, громко жевали хлеб.

На эстраде, где долговязая Анна де Бейль с черной палочкой в руке отбивала такт песнопения, восседала в большом кресле, как всегда, элегантная, невозмутимая, г-жа Отман, а за ней двумя рядами размещался хор школьников Пор-Совера в черных пелеринках и черных люстриновых блузах, на фоне которых белыми пятнами мелькали книжечки духовных гимнов. Элина, сидевшая рядом с матерью в глубине зала, машинально развернула красивую, роскошно напечатанную программу:

СОБРАНИЕ ДАМ-ЕВАНГЕЛИСТОК *Авеню Терн, 59, дала Б.*

- 1) Гимн IV: «Пречистая кровь Спасителя
Меня обелит как снег».
- 2) Проповедь г-жи Отман: «Слово о лености души».
- 3) Исповедь отрока Николая, ученика школы в Пор-Совере.
- 4) Исповедь Ватсон ив Кардифа: «Ночь в слезах».
- 5) Гимн XI: «Бегите, грешники, боитесь безумия,

Направьте стопы в Ханаанскую землю».

Элина еще не успела разобраться в этом непривычном жаргоне, когда их с матерью пригласили пересесть на переднюю скамейку, что чрезвычайно польстило самолюбию г-жи Эпсен; она гордо уселась среди старух в шляпах с перьями, среди нарядных дам, чьи кареты стояли перед подъездом в одном ряду с экипажем председательницы и омнибусами из Пор-Совера. Бедная женщина, питавшая слабость к богатству и громким титулам, пыжилась в своей шелковой мантилье, расточая направо и налево любезные улыбки, словно начальница пансиона при раздаче наград. Элина скромно жалась к матери; ей было неловко сидеть на виду у всех, перед глазами г-жи Отман.

Пение окончилось; хористы разом захлопнули книжки духовных гимнов. В зале послышалось шарканье ног, откашливанье, публика, рассевшись поудобнее, приготовилась слушать. Жанна Отман, с гладко причесанными черными волосами, в элегантной шляпке от модной мастерицы, — ибо апостол Павел запрещает женщинам молиться и проповедовать с непокрытой головой, — приблизилась к краю эстрады и начала говорить о повсеместном упадке веры, о губительной лени души... Нет более христиан среди нынешних мужчин и женщин. Никто не хочет бороться, страдать, умереть за Христа. Люди полагают, что весь их долг перед богом — соблюдать привычные обряды, бормотать молитвы про себя, приносить ничтожные жертвы, ни в чем не поступаясь эгоистическими земными привязанностями...

Элина снова, как и в первый раз, с глубоким волнением слушала этот голос, властный, холодный, точно ледяными иглами пронзавший ей душу. «Это она говорит про меня...» — думала девушка, раскаиваясь, что пришла сюда: она знала, какое магнетическое влияние оказывает эта чужая женщина на ее слабовольную натуру.

...Нет, Иисусу Христу не угодно показное благочестие, внешняя обрядовость. Он требует полного отречения от роскоши, от земных радостей, от всех мирских привязанностей...

С улицы доносился смутный гул: стук колес, звонки омнибусов, гудки городской конки сливались с тягучими, визгливыми звуками овернской волынки. Но голоса грешного Вавилона и его предместий, не достигая ушей евангелистки, смущали ее не больше, чем мышиная возня в глубине зала нищих малышей, которые грызли хлебные корки, или чем гнусавый храп нескольких нерадивых слушателей.

Прямая, стройная, спокойная, одной рукой прижимая пелеринку к

грудь, в другой держа раскрытую книжку, Жанна продолжала призывать к отречению от всех привязанностей, от всех благ земных и закончила проповедь цитатой из священного писания: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом свой, и отца, и мать, и детей своих ради Меня и не был бы за это вознагражден сторицею...»

Тут опять раздалось пение хора и звуки фисгармонии, и это несколько разрядило гнетущую атмосферу, возникшую в зале после этой длинной мрачной проповеди. Один из солдат поднялся с места и вышел. Ему стало смертельно скучно. К тому же в помещении с застекленным потолком становилось чересчур жарко.

— Они бы убавили газ, — отдуваясь, прошептала толстая г-жа Эпсен.

Элина, не расслышав ее слов, быстро проговорила с некоторым раздражением:

— Ну да, ну да... Это из Евангелия.

Вдруг на эстраде застрекотал визгливый, ломающийся голос. Появился подросток, нескладный, с кривой усмешкой, похожий на уличных мальчишек из пригорода, торгующих билетами. Это был юный Николай, ученик евангелической школы в Пор-Совере, малый лет пятнадцати, бледный, как все фабричные дети, со впалыми щеками, с гладкими, прилизанными волосами, в длинной школьной блузе; он раскачивался, переступал с ноги на ногу, подчеркивая каждую фразу развязными, вульгарными жестами.

— Слава господу! Я очистился, омылся в крови Спасителя... Я служил дьяволу, душа моя была черна и закоснела в пороке... Нет, я никогда не посмею покаяться перед вами в своих чудовищных прегрешениях.

Он остановился передохнуть, как будто собираясь рассказать свои проступки во всех подробностях, а так как до поступления в школу Пор-Совера юный Николай провел два года в исправительной тюрьме Птит-Рокет, то публике предстояло услышать всякие ужасы. К счастью, он все это пропустил.

— Ныне душа моя озарена светом и благодатью божией. Христос-Спаситель извлек меня из бездны погибели, он спасет и вас, если вы призовете его, если будете молить его о помощи... Грешники, внимающие мне! Не противьтесь воле божией...

Обращаясь к почтенным дамам на передней скамье, он ухмылялся с видом сообщника и лукаво подмигивал им, точно товаркам по каторге; он заклинал старух «избегать дурного общества и всецело предаться Иисусу Христу, чья драгоценная кровь омывает самые тяжкие преступления...». Затем, передернув плечами, вытянув голову на тонкой черепашьей шее, он

сошел с эстрады, уступая место миссис Ватсон из Кардифа.

При ее появлении по зале пробежал трепет, точно при выходе на сцену знаменитой актрисы. Пресловутая Ватсон была гвоздем программы, ее «исповеди» уже давно ожидали с нетерпением все приближенные г-жи Отман. Под большими полями английской шляпки с широкими лентами Элина тотчас узнала распухшее от слез лицо с воспаленными, красными глазами, лицо, которое так поразило ее в приемной г-жи Отман. В то утро бедняжку, вероятно, заставляли репетировать эту «исповедь», и Лина представляла себе, каких мучений ей это стоило.

«Она еще упирается, но выступит непременно!»

Так нет же! На ярко освещенной эстраде, при виде всей этой публики, с любопытством разглядывавшей ее несчастное, жалкое, некрасивое лицо, миссис Ватсон внезапно потеряла дар речи. Ее плоская грудь вздымалась; поднося к горлу бледные руки с набухшими венами, она судорожно глотала воздух, словно что-то душило ее, мешая говорить.

— Ватсон! — раздался резкий, повелительный окрик.

Новообращенная, оглянувшись на голос, послушно кивнула головой, показывая, что сейчас, сию минуту начнет говорить; это стоило ей таких усилий, что в горле ее будто что-то хрустнуло, словно скрипнула цепь часовой гири.

— Одна ночь в слезах, — начала миссис Ватсон, но так тихо, что никто ничего не расслышал.

— Громче! — властно приказал тот же голос.

Несчастливая женщина заторопилась и с ужасающим английским акцентом выговорила одним духом:

— Я очень много выстрадала за веру в Иисуса Христа, и я хотела поведать вам, какие испытания мне пришлось перенести.

В театре Пале-Рояля ее ломаный язык вызвал бы дикий хохот. Но здесь все лишь с недоумением спрашивали друг друга: «Что это она говорит?» Наступила минута замешательства. Тогда г-жа Отман, о чем-то пошептавшись с Анной де Бейль, громко позвала:

— Элина Эпсен!

И жестом пригласила ее подняться на эстраду.

Девушка колебалась, в испуге оглядываясь на мать.

— Идите же сюда!

Поняв, чего от нее требуют, Элина повиновалась, точно во сне; ей велели переводить с английского, фразу за фразой, весь рассказ миссис Ватсон. Неужели она, такая застенчивая, что даже дома конфузилась играть на фортепьяно при двух-трех слушателях, осмелится выступить здесь,

перед публикой? «Ни за что она не решится», — подумала мать. Но Элина решилась и начала покорно переводить речь англичанки, стараясь передать даже ее интонации, а г-жа Эпсен в порыве наивного материнского тщеславия гордо оглядывалась кругом, следя за произведенным впечатлением.

О несчастная мать! Лучше бы она посмотрела на свое дитя, посмотрела бы, как лихорадочно пылают щеки Элины, каким странным мистическим огнем из-под светлых, шелковистых ресниц горят ее глаза, устремленные вдаль. Она поняла бы тогда, что религиозный экстаз не менее заразителен, чем истерические припадки, охватывающие иной раз десятки больных, лежащих в больничной палате, поняла бы, что от жалкой, увядшей помешанной англичанки, стоящей рядом с девушкой, от ее прикосновения, от ее воспаленного дыхания исходит губительный яд безумия.

Началась ужасная, душераздирающая «исповедь» миссис Ватсон. Один из ее малышей утонул при ней, у нее на глазах, и после его смерти она впала в оцепенение, в безысходное отчаяние, от которого ничто не могло ее исцелить. Тогда пришла к ней женщина и сказала:

— Встань, Ватсон, и осуши слезы. Горе, постигшее тебя, — это первое предостережение всемогущего отца, кара, посланная небесами за то, что ты всем сердцем предалась земным привязанностям, ибо сказано в писании «не люби». И если первого знамения недостаточно, всевышний найдет на тебя новые бедствия, отнимет мужа, обоих оставшихся детей, будет карать тебя беспощадно, пока ты не внемлешь его велению.

Ватсон спросила:

— Что я должна делать?

— Отречься от мира и трудиться во славу божественного учителя, — отвечала женщина. — На свете множество грешных душ, по неведению предавшихся дьяволу. Иди, ты должна принести им освобождение, спасительный свет Евангелия. Иди. Лишь этой ценою ты избавишь от смерти своих родных.

— Иду! — сказала Ватсон... И вот однажды ночью в отсутствие мужа — смотрителя маяка в Кардифе, проводившего полмесяца на дежурстве, — она покинула свой дом, пока малютки спали. Как ужасна была ночь перед разлукой! В последний раз она смотрела на две кровати, откуда слышалось ровное дыхание невинных младенцев, в последний раз припадала губами к детским пальчикам, к ручонкам, разметавшимся в сладком, блаженном сне... Сколько прощальных слов, сколько слез! При одном воспоминании горькие слезы текли по ее изборожденному

морщинами лицу... Но вскоре с помощью божией Ватсон восторжествовала над кознями злого духа. Она примирилась с господом, она счастлива, безмерно счастлива, она утопает в блаженстве... Слава отцу небесному, Ватсон из Кардифа спасена, спасена во славу господина Иисуса Христа! И теперь по повелению своих настоятелей она будет петь и пророчествовать, она пойдет проповедовать учение Христово хоть на край света, хотя бы на вершины самых высоких гор.

Как ужасен был контраст между несчастной женщиной с искаженным отчаянием, страдальческим лицом и ликующим мистическим гимном, излетавшим из ее уст в свистящих, воркующих звуках английских слов: «*Delicious, very delicious*»^[14] — будто слышалась предсмертная песнь раненой птицы с окровавленными крыльями! Окончив свою исповедь, миссис Ватсон застыла на месте, словно окаменев, ничего не сознавая, беззвучно шепча помертвевшими губами какую-то молитву.

— Уведите ее! — приказала г-жа Отман.

В публике начался шум и движение, а хор затянул под фисгармонию:

Бегите, грешники, бойтесь безумия,
Направьте стопы в Ханаанскую землю!

И действительно, все поголовно спешили бежать, вырваться из этой гнетущей атмосферы безумия. Выйдя на улицу, каждый вздыхал с облегчением. Странно было вновь увидеть суету на тротуарах, толкотню на остановках omnibusов и городских конок, вереницы экипажей, мчавшихся в этот летний праздничный вечер к Булонскому лесу, широкие улицы, озаренные с высоты Триумфальной арки яркими электрическими лучами, которые ослепляли лошадей и заливали резким, точно дневным светом театральные афиши и вывески магазинов.



Г-жа Эпсен, взбудораженная успехом дочерн, взбудораженная комплиментами, Сказанными по ее адресу председательницей, оживленно болтала под стук колес и толчки омнибуса, а Элина, забившись в уголок, сидела молча и за весь долгий путь от авеню Терн до Люксембургского сада не вымолвила и двух слов.

— Ну, Линетта, не всякий сумеет переводить Так,' сразу, без подготовки... Лори гордился бы тобой, будь он с нами... Но какая там духота) Слушай, а эта бедняжка Ватсон... Ведь это же ужасно! Бросить мужа, детей... Как ты думаешь? Неужели бог может требовать подобных жертв?

В голосе г-жи Эпсен слышалось возмущение этой бессмысленной, жестокой церемонией. Ей хотелось сказать: «Все это глупые бредни!» — но

она не посмела, взглянув на замкнутое лицо дочери, не почувствовав между ними обычной душевной близости. Старушка невольно пододвинулась к ней, пожала ей руку, но рука Элины была холодной и неподвижной.



— Что с тобой, моя девочка?.. Ты озябла? Затвори окно.

— Нет, ничего, оставь меня... — тихо ответила девушка: ее в первый раз в жизни раздражала пустая болтовня матери, ее ласковая заботливость. Все вокруг казалось ей несносным: толкотня при входе и выходе в дверях омнибуса, лица пассажиров, такие заурядные в полумраке, пошлые, бессодержательные разговоры... Облокотившись на раму окна, она пыталась уединиться, сосредоточиться, вспомнить пережитое волнение. Что приключилось нынче вечером с Парижем, с ее милым Парижем, где ей

случайно довелось родиться, который она любила, как свой родной город? Сегодня на Лину наводила тоску уличная толчея, духота, зловоние сточных канав, ей слышались пьяные крики, плач голодных детей, глупые сплетни кумушек у ворот. А дальше, в богатых кварталах, ее еще больше удручала роскошь, переполненные кафе с выдвинутыми на тротуары столиками, праздные мужчины и дамы, фланировавшие в голубоватом свете газовых рожков. Все это казалось Элине костюмированным балом, где только не слышно музыки, ей чудилось, будто это кружатся на солнце жужжащие мухи вокруг дерева смерти... Какую богатую жатву можно собрать среди этих заблудших душ! Какая высокая цель — обратиться к Спасителю эту толпу, погрязшую в суетных наслаждениях! При этой мысли, как и тогда, на эстраде, она ощутила внутренний подъем, сладостный, могучий порыв вдохновения...

Хлынул дождь, настоящий весенний ливень, и точно метлой смел с бульваров публику. Испуганные прохожие расползались, как муравьи, шлепали по лужам, укрывались в будках, конторах, под воротами домов. Г-жа Эпсеи дремала, убаюканная покачиванием омнибуса, запрокинув свое доброе лицо в шляпке с лентами. Элина думала с тоской о будничной прозе их жизни. Какое право она имела презирать людей? Чем она лучше, чем она выше других? Как ничтожны, как наивны все ее добрые поступки! Разве это угодно богу, разве таких он требует подвигов? Что, если Христос отвергнет ее за леность и нерадивость? Ведь господь уже послал ей, как миссис Ватсон, первое предостережение: ^бедная бабушка внезапно скончалась, не успев покаяться перед смертью. Что, если он нанесет ей новый удар!.. Ее мать!.. Вдруг ее мать тоже умрет скоропостижно?!

Такие мысли всю ночь не давали ей спать.

Впечатление этого вечера не только не изгладилось с течением времени, в суете повседневных дел, а, наоборот, углубилось и окрепло в душе Элины. Воспоминания преследовали ее даже во время уроков в домах богатых учениц г-жи Эпсен, детям которых она преподавала немецкий и английский языки. Несмотря на любезный прием, на изящную, комфортабельную обстановку, соответствовавшую ее утонченным вкусам, Элина изнывала теперь от скуки за учебным столом, среди кудрявых, белокурых детей в больших английских воротниках, в вязаных костюмчиках с красными якорями. Девушку раздражали рассеянность малышей, их беспрестанные несносные вопросы. Подобно Генриетте Брис, она начала считать учительскую профессию скучной, отупляющей и мечтала найти лучшее применение своим силам и способностям... А родители! Какие пошлые, грубые мужчины! Какие мелочные, пустые

женщины!

Спору нет, баронесса Герспах, конечно, добрейшее существо, но до чего же низменны ее интересы! Она всецело поглощена конюшной мужа и скачками. То она подыскивает эффектную кличку для новой кобылы, то пробует новое лекарство — помаду или присыпку — против злосчастной накожной болезни, наследственной в роду Отманов, которая по-прежнему мучает ее каждую весну, как мучила еще в пансионе, когда она носила имя Деборы Беккер. Теперь, окончив уроки, Элина под любым предлогом спешила уйти оттуда, предпочитая второпях съесть пирожное и выпить глоток холодной воды где-нибудь за стойкой в кондитерской, чем сидеть с хозяевами за обильным завтраком с кровавым бифштексом и портвейном и выслушивать сальные шутки толстого, губастого барона насчет ее будущей свадьбы.

Более охотно она посещала графиню д'Арло, на улице Везлей, по соседству с монастырем Варнавитов, в небольшом особняке, где стены и ковры были словно пропитаны запахом ладана. Здесь, за внешней роскошью, за наружным спокойствием таилась семейная драма, глубокое женское горе; Элина была посвящена во все подробности — девушки ее круга рано знакомятся с неприглядной прозой жизни. Прожив несколько лет с горячо любимым мужем, графиня неожиданно застала мужа в объятиях выросшей у них в доме родной племянницы, своей воспитанницы, которую она только что выдала замуж. Увидев их циничное, грубое объятие, их жадные поцелуи взасос, г-жа д'Арло убедилась, что молодая женщина давно уже была и продолжает быть любовницей графа.

Ради сохранения их доброго имени, их репутации в обществе, а главное, ради дочери, г-жа д'Арло решила избежать огласки и не требовать развода. В доме соблюдалась видимость семейного согласия, взаимная учтивость врагов, принужденных жить под одной кровлей. Но графиня ничего не забыла и не простила; она с болезненной страстностью искала утешения в католической религии, предоставив тувернанткам воспитывать девочку, которая уже о многом догадывалась и нередко за обедом с тревожным любопытством украдкой таращила глазенки то на церемонно вежливого отца, то на скорбную, молчаливую мать.

Г-жа Эпсен с дочерью часто говорили меж собою, что лучше бы несчастной графине реже ходить по церквам и больше времени посвящать своему дому, ребенку, своим обязанностям матери и жены; эти заботы утешили бы ее скорее, чем постоянные молитвы и коленопреклонения. Но теперь Элина понимала г-жу д'Арло и если и осуждала ее, то не за чрезмерное благочестие, а за бесплодную, бездеятельную веру; за мелкие,

эгоистичные жалобы в ее молитвах, обращенных к богу. Какая огромная разница с апостольским рвением Жанны Отман, с самоотречением Ватсон из Кардифа!

— Куда вы идете, Лина? Я вас отвезу, — говорила г-жа д'Арло после урока.

Удобно усевшись в коляске на мягких рессорах, графиня изливала свое горе, лелея и баюкая его, поверяла Элине семейные тайны, сама растревляла свою рану, как это любят женщины, когда секретничают между собой. Она внушала этой юной смятенной душе отвращение к жизни, разочарование, увещевала ее отречься от бренных земных радостей ради вечного блаженства на небесах. Иногда по дороге они останавливались у какой-нибудь католической церкви. Элина без колебаний входила туда вслед за графиней, ибо протестантские храмы но будням закрыты, а для набожной христианки годно любое проникнутое религиозным духом место, где можно помолиться богу. В пустой церкви св. Клотильды девушке даже лучше удавалось сосредоточиться, обратиться мыслью к небесам, чем на многолюдном воскресном богослужении на улице Шоша.

Этот скандинавский храм в самом центре Монмартра, в двух шагах от Аукционного зала, — одно из неожиданных парижских впечатлений. Странно вдруг очутиться, свернув с Итальянского бульвара, в обширном нефе с полукруглым, наполовину застекленным сводом, откуда падает холодный дневной свет, странно слушать пастора в длинной черной мантии, который проповедует на жестком, гортанном языке, словно ворочая каменные глыбы. На массивных деревянных скамьях виднеются склоненные затылки с толстыми рыжеватыми косами, широкие мужские спины — целая колония датчан, норвежцев и шведов, загорелых, светлоглазых, бородатых, как скандинавские боги. Их имена записаны в особой «Скандинавской книге» кафе Регентства, а на улице Сент-Оноре булочники выпекают для них особые ржаные хлебцы с медом.

Долгое время Элине казалось приятным отдыхом играть по воскресным дням на органе в этой церкви, аккомпанируя датским песнопением, напоминавшим ей о незнакомой родине. Но теперь она играла рассеянно, поглощенная своими думами... Разве могли быть угодны богу эти гимны на банальную мелодию, исполняемые хором так вяло, с таким равнодушием? Это то самое внешнее христианское благочестие, те привычные обряды, не согретые верой, которые так возмущали г-жу Отман. В Японии существуют механически повторяющие молитвы заводные машины на манер шарманки, которые право же с не меньшим успехом способны воспламенить души верующих.

Какими несносными казались Элине кокетливые девицы, которые, выпрямляя стан, встряхивали волной светлых кудрей, искрившихся, точно пена водопадов] Даже в храме они думали только о тряпках, охорашивались и бросали украдкой завистливые взгляды на туалеты подруг. А скучные, вялые дамы с пухлыми лицами — настоящий «студень», как навывают датчан в Германии, — которые тут же, во время молитвы, раскланивались и приглашали знакомых на сытный обед или обильный ужин! А сонный пономарь в костюме метрдотеля, лениво обходивший ряды молящихся, собирая пожертвования в сетку на длинной палке! А сам пастор Бирк с томным взглядом, с завитыми буклями, который, склонив голову набок, жадно высматривал среди прихожанок невесту с приданым! Во всех, во всем.

Элина видела леность души — в плесени, выступавшей на фронтоне храма, в ржавчине, покрывавшей решетку наружных дверей. Когда, вернувшись домой, она наблюдала в окно, как пастор Оссандон с лейкой или садовыми ножницами в руках возится в своем садике, ей казалось, что даже этот почтенный старик, твердый и стойкий в вере, давший столько доказательств своего религиозного рвения, лучший церковный проповедник, декан факультета, даже он поражен тем же недугом, что и остальные, что и она сама. Леность души! Леность души!

Никто из окружающих не замечал душевного смятения Элины, не замечал, как постепенно, упорно навязчивая идея овладевает всем ее существом. Г-жа Эпсен, всецело поглощенная предстоящей свадьбой, в восторге, что дочка остается при ней, а зять — важный чиновник в министерстве, уже хлопотала о приданом и мебелировке комнат. Напрасно девушка убеждала ее! «Нечего спешить... Успеется...» Не обращая внимания на равнодушие невесты — ведь она сама в свое время вышла замуж не по любви, а по расчету, — г-жа Эпсен рылась в шкафах, разбирала белье, выискивала в старых шкатулках драгоценности в подарок дочери: брошку с портретом покойного отца, нитку жемчуга, филигранные украшения, какие носят в Дании. Она вымеряла кружева, кроила, подбирала одно к другому.

— Смотри-ка, Линетта, — радовалась мать, — тут хватит кружев на рукава... Если подобрать такие же на воротник, у тебя будет чудесная отделка для подвенечного платья!

Добрая женщина бегала по магазинам, покупала недостающую посуду и белье, ибо нечего было и рассчитывать на вклад семьи нижнего этажа в их общее хозяйство. Она уже ходила вниз и осматривала там все вместе с Сильванирой, желая выяснить, чего не хватает. Боже мой! Совсем как на

новых территориях, о которых рассказывал Лори... Пустота, хоть шаром покати! Однако при строгой экономии, если к жалованью Лори прибавить уроки и переводы Лины, они как-нибудь проживут; к тому же бывший супрефект не терял надежды снова войти в милость. Шемино уже намекал на это у баронессы Герспах. А вдруг он получит место су префекта, хотя бы второстепенное? У них будет большой сад над морем, как в Шершеле, лошади, экипаж, изящная гостиная, в которой г-жа Эпсен будет помогать дочери устраивать приемы!

Этими мечтами она делилась с Лори, когда он приходил к ним по вечерам, сияющий, гордый, уверенный в своем счастье. Под предлогом занятий с Фанни Элина уклонялась от участия в этих скучных разговорах о свадьбе — они раздражали, даже оскорбляли ее... Выходить замуж? Зачем?.. Слушая тоненький голосок девочки, монотонно твердившей уроки, Лина думала о другом, устремив глаза вдаль. Ее больше не интересовали успехи ученицы, ей уже не доставляло удовольствия, усадив малютку на низенькую скамеечку, на свое прежнее место у ног бабушки, обучать ее вязанию или шитью... Нет, ей не терпелось скорее приняться за свою работу, за перевод новой брошюры, заказанной ей женою одного посланника: «Беседы христианской души с богом. Сочинение г-жи ***».

С ранней юности Жанна Отман была удостоена благодати запросто беседовать с Христом. Брошюра передавала эти мистические беседы в форме вопросов и ответов, а в предисловии г-н Ж. Б. Круза, настоятель школ в Пор-Совере, разъяснял в восторженном тоне, что подобное общение со всевышним, якобы невозможное по современным понятиям, вполне естественно и совместимо с благочестием для истинной христианки, которую он называл великой мистической праведницей: «Поистине в этой душе, всецело предавшейся господу...»

— Послушай, Линетта, как удачно придумал господин Лори: мы соединим оба этажа внутренней лестницей. Он уже и план составил.

Подойдя ближе, Лори показал кончиком пенсне великолепный чертеж, который он искусно разрисовал китайской тушью в свободные часы на службе. Лестница пойдет сюда, потом туда...

— Очень мило! — проговорила Элина, не поворачивая головы, и снова углубилась в мрачный мистицизм, которым уроженка Лиона словно густыми туманами родного края окутывала горькие разочарования своей юности. Потом, когда на колокольне св. Иакова било де сять часов, малютка Фаннн, доверчиво обняв девушку обеими ручонками, говорила: «Покойной ночи, мама!» — и при этих ласковых словах бедная Элина на минуту примирялась с мыслью о замужестве.

Однажды после полудня, когда г-жа Эпсен сидела дома одна, подсчитывая расходы, ее посетила такая неожиданная, такая высокопоставленная гостья, что у бедной женщины от испуга свалились с носа очки... Сама г-жа Отман у них в доме!.. Ей хотелось раздвинуть стены прихожей, чтобы оказать достойный прием супруге могущественного банкира. Слава богу, гостиная была, как всегда, в образцовом порядке: жалюзи подняты, бронзовые подсвечники на консолях начищены до блеска, кресла в нарядных гипюровых чехлах расставлены по местам. Зато сама-то она, на что она похожа в старом домашнем платье, в поношенном чепце! *Поше мой!.. Поше мой!..* А Линетты как на грех нет дома!

— Мы обойдемся и без нее, — заявила с холодной улыбкой г-жа Отман, чьи спокойные манеры так же отличались от суетливой растерянности хозяйки дома, как ее элегантный, модный туалет темных тонов — шелковый, отделанный гагатом — от капота с обтрепанной бахромой бедной датчанки.

— Вы приехали за переводом «Бесед», сударыня? Лина, к сожалению, еще не совсем его закончила... Бедняжка свободна только по вечерам.

Г-жа Эпсен начала тараторить о трудолюбии дочери, об утомительной беготне по урокам, об ее упорном желании одной кормить семью.

— Она постоянно твердит: ты довольно поработала, мама, пора тебе отдохнуть... Ах, — это такая чудесная девочка, просто сказать не могу!..

При этих словах «просто сказать не могу» из глаз матери скатились две крупные слезы, более красноречивые, чем фразы, которые она силилась подыскать. Жена банкира между тем своими ясными глазами внимательно и пытливо осматривала каждый уголок гостиной.

— Сколько зарабатывает ваша дочь уроками?:- спросила она, когда г-жа Эпсен умолкла.

- #9632; Трудно сказать, сударыня, бывает по-разному.

Она объяснила, что в мертвый сезон, летом, все разъезжаются на воды, на морские купанья, в загородные поместья, а Лина отказывается от поездок, чтобы не оставлять мать одну. За этот год — г-жа Эпсен только что подсчитала — ее дочь заработала около четырех тысяч франков.

— Я предложу ей вдвое больше, если она перейдет работать в наши школы, — объявила миллионерша небрежным тоном, словно речь шла о самой ничтожной сумме.

Г-жа Эпсен была ослеплена. Восемь тысяч франков... Какое подспорье для их скромного хозяйства! Но, поразмыслив, она поняла, что это неосуществимо. Пришлось бы порвать все полезные знакомства, расстаться с графиней д'Арло, с баронессой Герспах, которая обещала Лори

свое покровительство. На это Элина никогда не согласится.

Г-жа Отман настаивала, ссылаясь на то, что Элина устает, что молодой хорошенькой девушке опасно ходить одной по Парижу, а в Пор-Совер ее каждое утро будет отвозить карета. Наконец, после долгих уговоров мать дала согласие отпускать Элину три раза в неделю. Условились о расписании, о плате за уроки. Элина будет завтракать в Пор-Совере и к вечеру возвращаться домой. В том случае, если бы пришлось задержаться, в замке много свободных комнат для ночлега.

— Ну уж нет, на это я не согласна! — вскричала г-жа Эпсен с возмущением. — Я ни за что не усну, если со мной рядом не будет моей дочки.

Председательница встала, собираясь уходить.

— Вы очень любите вашу дочь? — спросила она вдруг.

— Еще бы, сударыня, — отвечала мать, невольно тронутая серьезным, проникновенным тоном, каким был задан этот странный вопрос. — У меня нет никого на свете, кроме нее. Мы никогда не разлучались. И не расстанемся никогда.

— Однако же она выходит замуж?

— Да, но мы будем жить одной семьей. Это было ее первым условием.

Они вышли на площадку лестницы.

— Мне говорили, будто господин Лори не принадлежит к истинной церкви?.. — взявшись за перила, заметила мельком г-жа Отман, как будто не придавая значения этому вопросу.

Г-жа Эпсен, провожая гостью вниз, замешкалась с ответом — она знала ее нетерпимость в вопросах религии. Собственно говоря, г-н Лори действительно не вполне... Но бракосочетание совершится в протестантской церкви, Элина настояла...

— До свидания, сударыня! — резко прервала ее жена банкира, поспешно спускаясь по лестнице.

Когда запыхавшаяся г-жа Эпсен в съехавшем набок чепце выбежала вслед за ней на крыльцо, лошади уже умчали крупной рысью карету Отманов. Бедная женщина лишилась удовольствия показаться на улице, перед изумленными соседями, рядом с почетной гостьей.

IX. НА САМОЙ ВЕРШИНЕ

Эриксхальд близ Христиании

Итак, дорогая Элина, я последовала Вашему совету, я покончила с унижительной, рабской службой в богатых домах, где чужой хлеб казался мне столь горьким. Увы! Дух мой бодр, но тело немощно; болезнь обрекает меня на прозябание вдали от моего любимого монастыря, и я решила укрыть горящее во мне священное пламя на берегу Норвежского моря, в долине родного фиорда, где я не была более пятнадцати лет.

Вы спросите, как произошел мой разрыв с княгиней? Самым неожиданным, самым нелепым образом, как и следовало ожидать от столь взбалмошной особы. Проездом через Будапешт я встретила случайно со старым соратником Кошута, убежденным патриотом, впавшим в нищету, но сохранившим и в рубище чувство собственного достоинства; это святой человек, истинный герой. Желая оказать ему почет и хоть немного помочь, я пригласила его к обеду в гостиницу и усадила рядом с собою. Разразился дикий скандал! Все дамы вскочили с мест, они отказывались обедать за одним столом с нищим бродягой, а ведь божественный учитель, омывший ноги беднякам, много раз подавал нам пример христианского смирения. Больше всех негодовала княгиня; несмотря на свои либеральные замашки, она до мозга костей проникнута спесью и высокомерием своей касты. После бурного объяснения она бросила меня в чужом городе, одну, без денег, так что норвежскому консулу пришлось отправлять меня на родину на казенный счет. Это подтверждение данного мною обета бедности несколько бы меня не смутило и не огорчило, если бы только я нашла здесь желанный приют.

Ах, дорогая моя Элина!..

Первые дни я искренне радовалась, что вижу снова родную приморскую деревушку, деревянные хижины, колокольню, возвышающуюся, точно сторожевая башня, над самым берегом, церковь с окнами без витражей, открытыми на морскую синеву, деревенское кладбище, заросшее травой, с тесными рядами крестов, покосившихся от морских ветров. Какой чудесный уголок для молитвы, для благочестивой жизни во Христе, если бы не злоба, глупость, шумная суэта пасущегося здесь человеческого стада! Ни единого проблеска в их тупом взгляде, ни единой мысли о вечности, о боге. На кладбище резвятся дети, на низенькой

ограде усаживаются кумушки с шитьем, чтобы позлословить и почесать языки, а по воскресеньям местные красотки распевают здесь пошлые песенки, нарушая покой мертвецов, пляшут, водят хороводы, задевая юбками могильные кресты, причудливые тени которых в лунную ночь тянутся к самому морю. Но то, что я нашла дома, в родной семье, еще больше меня огорчило.

Сначала старики родители встретили меня с трогательной нежностью. В первые дни, окружив меня заботами, тешась воспоминаниями о прошлом, отец и мать умилялись моим словам, взглядам, всем моим поступкам; они старались отыскать во взрослой женщине черты прежнего ребенка. Но после того как притупилась радость свидания и они вернулись к привычной, повседневной жизни, я почувствовала, что с каждым днем становлюсь для них все более чужой и сама все больше от них отдаляюсь. Кто из нас изменился: они или я?

Отец мой — плотник и, несмотря на преклонные годы, до сих пор еще работает, чтобы прокормить семью. Он строит хижины, покрытые берестой, шатающиеся от зимних вьюг, он мастерит гробы. Исполняя эту печальную обязанность, отец мой, вместо того чтобы предаваться благочестивым размышлениям, напевает кабацкие песни, ищет утешения в проклятом зелье — несчастье бедных жен. Под верстаком среди стружек у него всегда стоит большая желтая бутылка. Сначала моя мать жаловалась, роптала, умоляла, но после грубых ругательств и побоев принуждена была смириться; невидимый яд жизненных невзгод постепенно отравил и ее, погасил в ней искру божью. Теперь это не жена, не мать; это жалкая, безропотная рабыня.

Я предвижу, дорогая Лина, что мои чистосердечные признания возмутят Вас, что Вы осудите меня за непочтение к родителям. Но я много раз говорила Вам, что давно уже отрешилась от всего земного и, возродившись для жизни во Христе, утратила все человеческие чувства. Однако слушайте развязку этой семейной драмы. Вчера утром я заперлась в своей келье — убогой каморке с деревянной мебелью, куда я то и дело уединяюсь, чтобы молиться, размышлять, писать, преклонять колена перед распятием Иисуса Христа, указующего нам путь к спасению. И вдруг я услышала (стены в доме тонкие), как отец мой сердито спрашивает у матери, чего ради меня сюда принесло, раз я не желаю ни шить, ни прясть, ни помогать по хозяйству. «Поди скажи ей, выложи ей все начистоту!» — кричал он.

Мать робко поднялась ко мне, приниженная, забитая, как всегда, потопталась в комнате и начала тихонько попрекать меня, что я ничего не

делаю. Сестры мои замужем, пристроены, даже младшая, что служит в Христиании, и та присылает часть заработка родителям. Теперь здоровье мое поправилось, теперь и я должна помогать семье... а не то... Я не дала ей договорить. Я обняла обеими руками бедную старушку, которая так ласково целовала меня в детстве, и прижалась щекой к ее морщинистому лицу, обливая его слезами — последними слезами перед разлукой.

Куда же мне идти теперь, если даже родные гонят меня из дому? А ведь мне так мало от них нужно — лишь бы не умереть с голоду! Недавно мне предложили место в Петербурге. Снова воспитывать детей, снова терпеть унижение и рабство! Но не все ли равно? Эта злосчастная попытка вернуться к семейному очагу убедила меня в том, что все в мире умерло для меня, даже родная семья. Отныне сердце мое замкнулось для земных чувств, никакие мирские радости не прельстят его более...»

Элина получила письмо Генриетты Брис вечером, вернувшись из Пор-Совера. Она читала его, сидя у стола с двумя приборами, накрытыми друг против друга, и с букетом цветов, который г-жа Эпсен никогда не забывала поставить перед, своей любимицей, ибо этот ежедневный обед вдвоем с дочерью был для нее праздником. Поджидая мать, девушка сидела неподвижно, не снимая шляпки и перчаток, глядя на распечатанное письмо, в котором говорилось о смерти, отречении, служении богу — о том же, что внушали ей и в Пор-Совере; те же мысли в обеих религиях выражались разными словами. Какое роковое совпадение: в дни жестокой внутренней борьбы, раздиравшей душу Элины, отчаянные жалобы Генриетты Брис вторили суровой проповеди Жанны Отман!

Дверь отворилась. Вошла ее мать. Элина поспешно спрятала конверт в карман — она была уверена, что письмо расстроит г-жу Эпсен. К чему спорить, когда они с матерью уже не могут понять друг друга? Зачем объяснять, что Элину теперь уже не возмущают кощунственные признания Генриетты, что и для нее, хотя она — увы! — еще не отрешилась от всего земного, и для нее существуют обязанности более высокие, более угодные богу, чем обязанности семейные?

— Ты уже дома, Линетта?.. А я и не заметила, как ты вошла. Я была внизу с Сильванирой. Ты давно здесь? Да разденься же наконец!

Как всегда после возвращения из Пор-Совера, Лина казалась измученной, обессиленной. Рассеянно сняв шляпку, она даже не взглянула в зеркало, не поправила прическу, а за столом ела так мало, так неохотно отвечала на нежные расспросы матери, что та забеспокоилась.

Они обедали, как обычно в летние месяцы, у раскрытого окна. Из сада к ним доносились голоса, смех, звонкое щебетанье птиц, которые словно

прощались с заходящим солнцем.

— Слышишь, Линетта? К Оссандону пришли в гостя внучата. Как бы они не утомили бедного старика! Ведь госпожа Оссандон в отъезде. Между прочим, говорят, будто майор собирается жениться.

Добрая женщина нарочно выдумала эту новость, чтобы проверить, не осталась ли в сердце Лины хоть искра чувства к бывшему поклоннику. Уж очень она холодна была с Лори за последние дни. Но Элина, выслушав новость с полным равнодушием, протянула только: «Ах, вот как!» Нет, тут кроется что-то другое.

И г-жа Эпсен встревожилась не на шутку. Она внимательно вглядывалась в красивые глаза дочери, обведенные синими кругами, в осунувшееся лицо, потерявшее юную свежесть и округлость. Положительно с ее дочкой что-то происходит! Мать попыталась расспросить Элину о Пор-Совере, о занятиях в классе, о часах отдыха.

— Значит, школа почти рядом с замком, дойти туда два шага? Так ты же совсем не гуляешь, родная моя! Просидеть пять часов в классе без воздуха, без движения! По крайней мере ты ходила на шлюзы навестить Мориса?

Нет, она туда не ходила. Г-жа Эпсен начала жалобно сокрушаться о бедном мальчике: ведь они совсем его забросили из-за всех этих хлопот и приготовлений к свадьбе.

— Отец считает, что ему там лучше, что это полезно для будущего моряка, но я, право, не понимаю, чему он там может научиться... Ах, доченька! Как много добра ты принесешь этой семье! Какая благородная задача для женщины доброй и серьезной, как ты!

Лина действительно была серьезна, даже чересчур серьезна, ибо ничто не могло вывести ее из оцепенения. Вялая, равнодушная ко всему, она продолжала сидеть за столом, задумчиво устремив глаза в одну точку, высоко над листвой деревьев, на золотистом закатном небе.

— Хочешь, пройдемся немного, дочка? Такой дивный вечер! И Фанни захватим с собой по дороге.

Элина сначала отказывалась, но потом уступила.

— Тебе так хочется? Ну хорошо, пойдём! — сказала она твердо, словно приняв какое-то важное решение.

В ясные летние вечера партер Люксембургского сада с той стороны, что прилегает к старому питомнику — его причудливые деревья, цветочные клумбы, заросли японского ломоноса с вьющимися стеблями и соцветиями пурпурных колокольчиков, тепличные декоративные юкки и кактусы, его белые статуи, оживленные зыбкой тенью листвы, —

напоминает зеленый, заботливо возделанный парк, только что политый перед приходом гуляющих. Ничего похожего на пыльные дорожки городских садов, на шумные аллеи бульвара Сен-Мишель. Здесь купаются в песке и летают над самой травой воробьи и толстые дрозды, почти ручные, клюющие крошки, оставшиеся от завтрака малышей.

В послеобеденные часы сюда, в круговые аллеи, к пчельнику, к фруктовым деревьям, рассаженным букетами, спиралью или шпалерами, со всех окрестных улиц стекается народ, совсем непохожий на праздную публику, толпящуюся на боковых террасах: служащие, мелкие рантье, семьи рабочих, женщины, сидящие здесь до темноты с книжкой или рукодельем, спиной к аллее и лицом к зелени, мужчины, расхаживающие с газетой в руках, и целые стаи детей, больших и совсем крошечных, играющих, бегающих вперегонки и едва научившихся ходить, которых выводят гулять так поздно, потому что матери работают целый день.

Усадив г-жу Эпсен на складное кресло возле клумбы ирисов, которые она особенно любила за нежные оттенки цветов и болотистый запах, Лори предложил Элине пройтись по саду. Она согласилась сразу, с какой-то лихорадочной поспешностью, хотя в последние дни словно бы избегала оставаться с ним наедине. Бедняга не мог скрыть свою радость. Гордо выпрямившись, довольный, помолодевший, он повел невесту в английский сад, где гуляли другие парочки, тоже, быть может, помолвленные. Рассыпаясь в цветистых фразах, Лори не обращал внимания на холодное молчание Элины, — он приписывал его девической робости и застенчивости. День свадьбы еще не был назначен, но обвенчаться они собирались на каникулах, в свободное от занятий время, когда ученики разъедутся и школы закроются. На каникулах! А ведь уже начался июль...

Какой чудесный июльский вечер, светлый, полный надежд! Влюбленный шел как во сне, глядя на дальние окна над бульваром, полыхавшие в лучах заката среди ветвей.

Фанни догнала их и в приливе нежности прижалась к Элине.

— Нет, оставь меня... Поди поиграй! — сказала ей Элина.

Девочка послушно побежала вперед по аллее, где щебетали ласточки и прыгали воробьи чуть ли не под ногами гуляющих, перелетая с деревьев на статуи, с гривы Каинова льва на поднятый кверху палец Дианы. День угасал. Длинные лиловые тени ложились на траву. — Следя за их узором, Элина шла молча, опустив глаза. Вдруг она сказала:

— Я узнала новость, которая меня глубоко огорчила. Правда ли, что Морис готовится к первому причастию?

Морис действительно написал отцу, что посещает католическую

школу при церкви Пти-Пора, к великой радости тамошнего кюре, довольного, что у него в этом году будет хоть один причастник. Но чем же это могло рассердить Элину?

— Меня следовало предупредить, я бы этого не разрешила, — продолжала девушка суровым тоном. — Если мне предстоит быть матерью вашим детям, руководить их воспитанием, они должны исповедовать ту же веру, что и я, единую, истинную веру... Я этого требую!

Неужели это Лина, прелестная девушка с кроткой улыбкой, говорила таким сухим, властным тоном? Неужели это она сказала «Уйди!», резким движением оттолкнув Фанни, которая снова подбежала к ним и замерла в испуге, увидев их расстроенные, изменившиеся лица? Все вокруг тоже изменилось: сад казался теперь сумрачным, пустынным, окна вдалеке меркли одно за другим в синеватых сгущавшихся сумерках. Лори почувствовал вдруг, как им овладевает уныние, он едва находил в себе силы возражать, бороться с холодной решимостью Элины. Ведь она так благоразумна, так чутка, как же она может не понять?.. Это же тонкий, деликатный вопрос, дело совести. Дети должны остаться католиками* как их покойная мать, хотя бы из уважения к ее памяти... Но девушка жестко перебила его:

— Вы должны сделать выбор. Я не согласна связывать себя на всю жизнь при таких условиях. Разные вероисповедания, разные обряды — это неизбежно вызовет разлад в будущем.

—Элина, Элина! Разве взаимное чувство не выше всего?

— Нет ничего на свете выше религии!

Стемнело, птицы умолкли в ветвях деревьев, редкие, запоздавшие прохожие, услышав издали сигналы сторожей, спешили к выходу, к единственным еще не запертым воротам, последнее окно на горизонте погасло. Лори едва узнавал в темноте большие неподвижные глаза Лины, так непохожие на прежние, ласковые, светившиеся улыбкой глаза его подруги.

— Не будем больше говорить об этом, — заявила она. — Теперь вы знаете мои условия.

Г-жа Эпсен, беспокоясь, что становится поздно, догнала их вместе с Фанни.

— Пойдемте домой, пора... А какой чудный вечер, жалко уходить!

Она продолжала болтать одна всю дорогу, а жених с невестой молча шли следом за ней, хоть и рядом, но такие далекие, чужие друг другу.

— До скорого свидания!.. Ведь вы зайдете к нам? — спросила г-жа Эпсен на площадке лестницы.

Не решаясь ответить, Лори прошел к себе, приказав дочке собрать книжки и подняться наверх одной. Но Фанни сразу же прибежала назад, задыхаясь от рыданий.

— Нет... Уроков больше не будет... — лепетала она, всхлипывая. — Ма... мадемуазель прогнала меня, она больше не хочет быть моей мамой... Боже мой, боже мой!

Сильванира взяла на руки дрожащую, плачущую девочку и унесла в свою комнату.

— Перестань, золото мое, не плачь! Уж я-то тебя никогда не покину... Слышишь? Никогда в жизни!

В крепких объятиях, в звонких поцелуях служанки чувствовалась нескрываемая радость, что она отвоевала свое дитя; Сильванира уже давно предчувствовала разрыв, как в свое время первая угадала зарождающуюся любовь.

Минуту спустя появилась расстроенная, потрясенная г-жа Эпсен.

— Что же это такое, мой бедный Лори?

— Она ведь вам рассказала? Ну, посудите сами, разве это возможно? О себе я не говорю... Я так ее люблю, что готов на все ради нее. Но дети! Нарушить волю их покойной матери!.. Я не имею права, я не имею права! А как жестоко она поступила с Фанни!.. Бедная крошка все еще плачет. Слышите?

— Элина тоже плачет там, наверху. Она заперлась в спальне, не хочет со мной говорить... Можете себе представить — не впускает меня к себе! Меня! Прежде у нас никогда не было тайн друг от друга!

Г-жа Эпсен, обычно такая мягкая, спокойная, взволнованно повторяла:

— Что с ней? Что с ней случилось?

Ей словно подменили дочь. Ни игры на фортепьяно, ни чтения, полное равнодушие ко всему, что прежде она так любила. Еле уговоришь ее подышать воздухом...

— Вот и сегодня, я чуть не насильно вытащила ее погулять... А ведь она такая бледная... так мало ест.* Я думаю, на нее повлияла смерть бабушки.

— И Пор-Совер. И госпожа Отман, — печально прибавил Лори.

— Вы думаете?

— Уверяю вас, это ее влияние. Эта женщина отнимает у нас Лину.

— Да, пожалуй, вы правы... Но Отманы так хорошо платят, они так богаты...

Видя, что бедного влюбленного нисколько не убеждают такие доводы и он только уныло качает головой, г-жа Эпсен добавила, стараясь

успокоить себя:

— Ничего, ничего, все уладится, все обойдется.

Она словно нарочно закрывала глаза, не желая видеть надвигающейся беды.

Всю ночь и весь следующий день в министерстве, машинально выполняя канцелярскую работу, Лори обдумывал свое решение не уступать Элине. Его обязанность на службе состояла в том, чтобы просматривать газеты и вырезать статьи, заметки, даже отдельные фразы, где упоминалось о его министре, аккуратно отмечая на полях число и название газеты. В этот день, поглощенный своим горем, он работал кое-как, одновременно сочиняя длинное письмо к Лине. Пытаясь сосредоточиться, он настроил уже два-три черновика под громкий смех и плоские остроты сослуживцев, как вдруг после полудня его вызвали к директору.

С некоторых пор к ним вместо Шемино был назначен новый директор. Бывший алжирский префект, быстро продвигаясь по службе, заведовал теперь сыскным отделением, и его уже прочили на должность префекта парижской полиции. «Шемино лезет вверх», — говорили в министерстве.

Его преемник, апоплексического вида солдафон, раскричался на своего подчиненного:

— Это неслыханно! Как вы посмели? Проявить такое неуважение к его превосходительству!

— Я? Неуважение?

— Ну, разумеется! Вы позволяете себе недопустимые сокращения. Вы изволите писать «Мон. юнив.» вместо «Монитор юниверсель». И вы полагаете, что его превосходительство поймет? Он не понял, милостивый государь, он не должен, не обязан был понимать!.. Ну, теперь берегитесь, господин супрефект Шестнадцатого мая!

Этот последний удар доконал бедного Лорн. Весь день он ходил как потерянный и говорил себе, что вместе с Линой его покинула его счастливая звезда. Дома его ждало еще большее огорчение: он узнал, что Фанни с самого утра ничего не ела, поджидая у окна возвращения мадемуазель, но на ее отчаянный призыв: «Мама, мама!» — Элина даже не обернулась.

— Вот уж это нехорошо, сударь, какой надо быть жестокой! — возмущалась Сильванира. — Наша деточка того гляди захворает с горя. Я уж думала... — прибавила она нерешительно, — если барин позволит... Не поехать ли нам с ней на шлюзы? Там ее братец, там на свежем воздухе ей полегчает.

— Поезжайте, поезжайте! — ответил расстроенный Лори.

После обеда он ушел к себе в комнату и, чтобы отвлечься, принялся сортировать бумаги своего архива. Он давно уже отвык от этого занятия и, стряхивая пыль с картонных папок, с трудом разбирался в принятой им самим сложной системе номеров и ссылок, которыми в канцеляриях помечают самую ничтожную бумажонку. Но сегодня Лори не мог сосредоточиться и поминутно уносился мыслью в верхний этаж, прислушиваясь к легким шагам жестокой Элины, которая переходила от окна к столу, от фортепьяно к бабушкиному креслу; каждому уголку его унылых, пустых комнат соответствовал такой же уголок верхней квартиры, нарядно обставленной, изящной и уютной.

Бедный вдовец думал о Лине, и влечение сердца побуждало его пойти на компромисс, на сделку с совестью. Ведь, в сущности, то, чего требует Элина, отчасти справедливо: муж, жена и дети должны молиться одному богу — раз уж их несколько, по ее мнению, общая религия скрепляет семью неразрывными узами. К тому же и государство наряду с католическим признает и протестантское вероисповедание, а для него, как правительственного чиновника, это весьма существенный довод.

Даже если руководствоваться интересами детей, то где он найдет им более нежную, разумную, заботливую мать? А если он не женится, воспитание детей снова будет предоставлено служанке. За Мориса еще можно не беспокоиться, его призвание определилось, но Фанни!.. Лори вспомнил, какой жалкий вид был у его дочки, когда ее привезли из Алжира: неловкая, растрепанная, с красными руками, в грубом деревенском платке, как у Сильваниры, неряшливая, точно ребенок из нищей семьи.

Терзаясь сомнениями, бедняга старался вызвать в памяти любимый образ покойной жены: «Помоги мне!.. Посоветуй мне!» Но напрасно он призывал ее — вместо дорогой тени перед его глазами возникала розовая, белокурая девушка, юная, обворожительная Элина Эпсен.

Она все отняла у него, даже воспоминание о прежнем счастье. Жестокая, безжалостная Лина!

Положительно в этот вечер сортировка бумаг ему была не под силу. Лори отошел от стола и облокотился на подоконник. В доме напротив, по ту сторону сада, в освещенном окне кабинета он увидел Оссандона, наклонившегося над письменным столом. Лори часто встречал декана и почтительно кланялся атому высокому старику, прямому и крепкому для своих семидесяти пяти лет, с добрым, умным лицом, седыми курчавыми волосами и окладистой бородой; им еще не приходилось разговаривать, но по рассказам г-жи Эпсен Лори знал до мельчайших подробностей историю жизни достойного пастора.

Человек скромный, родом из севенских крестьян, Оссандон не отличался честолюбием и, будь на то его воля, никогда не покинул бы своего первого прихода Мондардье в Мезенских горах, маленькой церкви из черного местного камня, своего виноградника, цветов и пчел, которыми он занимался в свободное от богослужений время с такой же любовью и кротостью, с какими руководил своей паствой; он обдумывал проповеди под стук садовой лопаты и сеял добрые семена с высоты церковной кафедры.

По воскресеньям, отслужив в деревенской церкви, Оссандон отправлялся в горы проповедовать пастухам, сыроварам и дровосекам. Его кафедра возвышалась на трех деревянных ступеньках, вдалеке от всякого жилья, над поясом хвойных деревьев и каштанов, в высокогорной полосе, где ничто не растет, где нет ничего живого, куда залетают только мухи. Самые лучшие свои проповеди, простые и торжественные, он произносил здесь, для бедняков, отрезанных от цивилизованного мира, перед широким, пустынным горизонтом, а стада, то приближаясь, то удаляясь, откликались на его голос звоном колокольчиков. Величавая сила и свежесть его образной речи, пересыпанной меткими простонародными словечками, пленявшими горцев, впоследствии снискали ему в Париже славу выдающегося оратора. Окончив проповедь, Оссандон ужинал в какой-нибудь пастушьей хижине, где его угощали жареными каштанами, и спускался в долину, окруженный целой толпой провожатых, громко распевающих духовные песнопения. Нередко, застигнутый бушевавшей в горах грозой, он шествовал под дождем и градом, среди молний и раскатов грома, словно ветхозаветный пророк Моисей.

Пастор охотно остался бы на всю жизнь в безвестности, среди дикой природы, но г-жа Оссандон и слышать об этом не желала. То была маленькая решительная женщина, дочка местного податного инспектора, румяная, золотистая от загара, аккуратная, по-крестьянски деловитая, с живыми глазами и выдающимся подбородком; меж ее пухлых, полуоткрытых губ белели острые зубки — крепкие зубки с бульдожьей хваткой. Честолюбивая пасторша командовала мужем, понукая его и тормоша, энергично хлопотала о его карьере ради него самого и особенно ради их сыновей, которых было столько, сколько желудей на дубе. Она добилась того, что Оссандона перевели из глухого прихода сначала в Ним, потом в Монтобан и, наконец, в Париж. Дар красноречия и глубокие познания, конечно, принадлежали самому пастору, но выдвинула его «Голубка», как называл он свою жену, пытаясь ее утихомирить; именно она, помимо его воли, создала ему славу, достаток и положение.

Голубка была экономна за двоих, ибо Оссандон все раздавал деревенским беднякам — белье, платье, даже дрова; он бросал их через окно, когда жена прятала ключ от дровяного склада. Она воспитала в строгости своих восьмерых сыновей, и, хотя ей приходилось туго, никто не видел на них дырявых сапог, никто не видел на них рваных штанов — она успевала штопать их по ночам. Громко разговаривая, расхаживая по дому, она вечно что — то шила или вязала, а впоследствии, не выпуская из рук работы, разъезжала в дилижансах и поездах и навещала своих мальчишек в разных городах, где ей удалось пристроить их в школу на стипендию. Деятельная и неутомимая, она требовала того же и от других и не давала покоя мужу до тех пор, пока все их восемь сыновей не были хорошо устроены и женаты, кто в Париже, кто в других городах или за границей. Для этого потребовалось немало похорон и венчаний, немало утомительных светских церемоний, куда наперебой приглашали знаменитого пастора Оссандона, который сумел занять обособленное положение, вне интриг и соперничества, и не примыкал ни к ортодоксальному, ни к либеральному направлению.

На долю бедного великого человека выпало гораздо больше славы и почетных обязанностей, чем бы ему хотелось, и он с грустью вспоминал широкие просторы, привольную жизнь в Мондardье и свои проповеди на горных высотах. Наконец, когда Оссандон стал деканом богословского факультета, жена разрешила ему ограничиться лекциями и вернуться к мирной, созерцательной жизни в домике на улице Валь-де-Грас, где они в ту пору поселились. «На самой вершине!» Такими словами Оссандон определял свое нынешнее благоденствие, достигнутое ценою стольких трудов, стольких нравственных мучений, — отдых, которым он упивался. Однако пастор чувствовал себя несчастным, когда его милый домашний тиран — его Голубка покидала его, чтобы навестить кого —нибудь из сыновей, и отправлялась в дальний путь, невзирая на преклонные годы.

Ни расстояния, ни утомительные переезды-ничто не могло удержать бойкую старушку. То, к удивлению Поля, майора, она появлялась в военном лагере во время маневров и, путая номера батальонов и рот, разыскивала его палатку. То другой ее сын, инженер в Коммантри, встречал ее в подземной галерее и помогал высадиться из шахтерской клетки. «Бог ты мой! Мама!»

Должно быть, и теперь г-жа Оссандон была в отъезде. Иначе декан не работал бы так поздно у открытого окна. Степенный, сосредоточенный, он что-то писал, готовясь к завтрашней лекции. Сообразив, что застанет старика одного, Лори решил отправиться к нему на дом. Он прошел через

сад, тихонько постучал, и перед ним открылись двери уютного кабинета, сверху донизу заставленного книгами без переплета. Над письменным столом висел большой портрет г-жи Оссандон, которая с улыбкой, но, глядя грозно, казалось, внимательно следила за работой своего супруга.

Лори-Дюфрен сразу, без всяких околичностей, объяснил цель своего прихода. Он принял решение перейти вместе с детьми в протестантскую веру. Он давно уже об этом подумывал, но теперь время пришло, время не терпит. Что он должен для этого сделать?.. Оссандон, улыбнувшись, успокоил его. Все это не так сложно. Детей надо посылать в воскресную протестантскую школу. Сам Лори должен основательно научить новое вероучение, вникнуть, сравнить, составить обо всем свое собственное суждение, ибо их религия, религия истины и света, позволяет, даже предписывает это своим приверженцам. Декан обещал направить Лори к одному пастору — сам Оссандон очень стар, очень устал... Этому трудно было поверить — такая у него была гордая осанка, так твердо и убежденно он говорил, так резко он отличался от растерянного, нерешительного Лори... Нет, нет, он очень стар, очень устал, он уже на покое!..

Наступило неловкое молчание. Лори, слегка смущенный своим поступком, не решался поднять глаза. Декан в глубокой задумчивости смотрел на белый лист бумаги, лежавший на письменном столе.

— Это из-за Элины, не правда ли? — спросил он минуту спустя.

— Да.

— Она этого требует?

— Да, она или же те, кто ею руководит.

— Понимаю... Понимаю.

Декану было известно все. Он часто видел карету г-жи Отман, стоявшую у подъезда. Он знал эту женщину, знал, на какие интриги она способна. Если бы Голубка не запретила ему строго-настрого, он бы давно уже предупредил бедную мать. Вот и теперь, глубоко проникнув в душевную трагедию Элины, о которой лишь смутно догадывался Лори, он взволновался. Ему хотелось сказать: «Да, я знаю Жанну Отман. Это женщина безжалостная, бессердечная, она разлучает, разъединяет семьи. Где бы она ни прошла — всюду слезы, раздоры, одиночество. Немедленно предупредите мать — ведь речь идет не только о вас. Пусть она увезет Лину как можно скорее, как можно дальше. Пусть вырвет девочку из когтей этой пожирательницы душ, этой живой покойницы, холодной и жестокой, как вампир на кладбище... Быть может, еще не поздно...»

Так думал Оссандон, но не смел сказать. С портрета на него смотрела грозным взглядом упрямая, благоразумная крестьяночка, выпятив

бульдостью челюсть, точно готова была выскочить из рамы и броситься на него, если он заговорит.

Х. ОБИТЕЛЬ

Каждое утро, ровно в одиннадцать часов, после отъезда банкира чинно и торжественно, как принято в Пор — Совере, за завтраком собираются старшие служащие религиозной общины во главе с Жанной Отман. Каждый занимает свое неизменное место: на конце длинного стола-председательница, по правую ее руку Анна де Бейль, по левую — Жан-Батист Круза, настоятель евангелической школы, молодой человек со впалыми щеками и короткой, жесткой бородкой кальвиниста, тощий, узколобый, с круглыми голубыми глазами, горящими фанатическим огнем.

Он приехал из Шаранты (это была родина Анны де Бейль) и, готовясь стать пастором, посещал в Париже лекции Оссандона. Как-то раз друзья повели его на молитвенное собрание послушать евангелистку, и он вышел оттуда сам не свой, в том восторженном состоянии, в какое иные проповедники в белых рясах приводят богомольных светских дам. Но его увлечение оказалось более длительным, и вот уже пять лет, покинув семью, друзей, пожертвовав будущей профессией, он занимал в Пор-Совере скромную должность учителя начальной школы, приближавшую его к Жанне Отман. В деревне он слыл ее любовником — примитивные крестьяне не могли иначе истолковать эту рабскую преданность ученика, ловящего каждое слово проповедницы. Но у евангелистки никогда не было любовников. Единственно страстные слова, слетевшие с ее тонко очерченных поджатых губ, давным-давно застыли в морозном воздухе над морем льда, под зубцами Юнгфрау.

Против шарантонца сидит мадемуазель Аммер, начальница школы для девочек, унылая, молчаливая особа, с вечно опущенными глазами, на все отвечающая робким, жалобным да, которое она произносит как ммда... Кажется, будто это жалкое, пришибленное существо со сгорбленной спиной, с приплюснутым носиком на бледном плоском лице навеки раздавлено тяжестью первородного греха. Грехопадение прародителей так глубоко угнетает, так подавляет забитую, недалекую девицу, что она стыдится проповедовать Евангелие среди чужих и едва осмеливается вести занятия с детьми в младших классах.

Почетное место на другом конце стола, занимаемое в воскресные дни пастором Бирком, по будням предназначается тому из учеников — мальчику или девочке, — кто заслужил лучшую отметку за ответы по закону божьему. Обучение в Пор-Совере, исключительно религиозное,

сводится к зазубриванию текстов Библии, на которых основаны темы всех уроков, все примеры по чистописанию и скорописи — все, вплоть до азбуки в картинках. Вера Жанны Отман в силу Евангелия столь велика, что, по ее убеждению, неопиты, даже не понимая смысла учения Христова, испытывают его благотворное воздействие, подобно тому, как арабы, захворав, обматывают себе голову изречениями из Корана. Больно видеть Библию, эту изумительную книгу, в руках деревенских ребятишек, захватанную грязными пальцами, закапанную слезами, больно слышать, как они лениво бормочут тексты, запинаясь, коверкая слова и зевая от скуки.

Отрок Николай, бывший питомец исправительной тюрьмы Птит-Рокет, достойный образец здешней системы воспитания, почти всегда занимает за столом почетное место против председательницы. Этот малый заучил наизусть все Священное писание: Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Второзаконие, псалмы, Послания апостола Павла — и по всякому поводу бессмысленно и громко, точно граммофонная труба, гнусавит за завтраком изречения. Все вокруг замирают в немом восторге: сам бог глаголет устами отрока! И какими устами! Страшно подумать, сколько мерзких ругательств и богохульных слов изрыгал юный преступник на тюремном дворе всего лишь три года назад. Разве это не чудо, разве это не самое лучшее, неопровержимое свидетельство в пользу евангелических школ? Тем более что Николай еще не вполне очистился от скверны старых грехов, от лжи, чревоугодия, вероломства. Как поучительно наблюдать борьбу доброго и злого начала в его неокрепшей душе, в его нескладной речи, в которой высокий слог Эклезиаста с трудом побеждает грубость тюремного жаргона!

Элина Эпсен в те дни, когда она завтракает в Пор — Совере, занимает место рядом с этим отроком, с этим чудом природы. Всем окружающим известно ее положение, ее намерение вступить в брак с нечестивым католиком. Всем известно, что врачевание заблудшей души уже началось, но силы зла упорно сопротивляются. И только ангельская кротость, неистощимое терпение г-жи Отман побуждают ее заботиться о спасении строптивой девушки. Анна де Бейль уже давно бы изгнала из храма ударами бича эту тварь, обреченную на адские муки. «Ты хочешь гореть в геенне, Сатана? Ну что же, ступай в пекло!..» Такого же мнения придерживается и Жан-Батист Круза.

Элина чувствует враждебность всех окружающих. Никто не разговаривает с ней, не замечает ее, она видит вокруг лишь гневные, презрительные взгляды. Даже причетник, безмолвно прислушивающийся за

столом, внушает ей робость, и девушка смиренно склоняет голову, глубоко сознавая свое ничтожество перед всеми этими святыми людьми.

И все-таки Элину чем-то привлекают томительно долгие завтраки в Пор-Совере за огромным столом с редко расставленными приборами, торжественная тишина, благолепие, монастырские блюда из вареного мяса, овощей и компота с черносливом; ее охватывает благоговейный трепет, словно она, недостойная, допущена на трапезу Спасителя с учениками. Девушка любит слушать застольные беседы, хотя и не смеет принять в них участие, мистические речи, полные возвышенных символов и отвлеченных понятий: *виноградник, куца, паства, испытания, искупление, ветер пустыни, веянье святого духа*. Ее интересуется множество непонятных вещей, которые обсуждают при ней посвященные: *Община, работницы*, таинственная *Обитель*, где она ни разу не была, хроника местной духовной жизни, моральное поведение той или иной семьи.

— Я довольна Желино... На нее нисходит благодать, — заявляет Анна де Бейль, с проникательностью сыщика ведущая слежку по всем закоулкам деревни и всего края на десять миль в окружности.

Или:

— Баракен совсем распустился... Опять перестал ходить на богослужение!

Тут она осыпает яростной бранью дурных христиан — отщепенцев, вероотступников, которые погрязли в грехах, точно свиньи в навозе. Элина понимает, что это изящное сравнение относится к ней, хотя, по правде сказать, трудно отыскать сходство между грубым библейским животным и девушкой с нежным профилем, которая краснеет до ушей, опустив головку с пышными белокурыми косами.

— Анна, Анна, не ввергай грешника в ожесточение!

Г-жа Отман мановением руки умиряет сердитую фанатичку с тою же кротостью, с какой Христос увещевал Симона фарисея. Как всегда спокойная, исполненная достоинства, председательница, продолжая есть и пить маленькими глотками, произносит длинные речи своим проникновенным голосом, приводя в трепет млеющего от восторга Жан-Батиста Круза и убаюкивая бедную Элину, которая уносится мечтою в мистическую высь, в золотое, лучезарное небо, где ей хотелось бы раствориться, исчезнуть в божественном сиянии.

Но почему же эта девушка, на вид такая мягкая, впечатлительная, послушная, плачущая горькими слезами, когда ей разъясняют всю гнусность греха, почему же она так долго упорствует, противится своему спасению? Вот уж почти месяц, как Элина посещает Пор-Совер, а

председательнице, к ее удивлению, еще ничего не удалось от нее добиться. Неужели Анна де Бейль права? Неужели Сатана восторжествует над юной душой, столь драгоценной, столь необходимой для Общины? Г-жа Отман начинает тревожиться. И вот однажды утром, войдя в столовую к одиннадцати часам и не увидев Элины, смиренно стоящей в ожидании на своем обычном месте, она говорит себе: «Все кончено... Она больше не придет!» Но дверь открывается, и девушка входит, взволнованная, с припухшими от слез веками. Несмотря на опоздание, она держится уверенно и непринужденно. В пути произошла задержка, поезд целых четверть часа стоял в Шуази. Объяснив причину опоздания, Элина спокойно усаживается за стол и как ни в чем не бывало просит причетника подать ей хлеба. Мало того, она вмешивается в общий разговор как равная, смело говорит о *куще, пастве, винограднике*; ее приводит в смущение только грубый голос Анны де Бейль.

— Что это за люди живут на шлюзах? — спрашивает старая дева сварливым тоном. — Туда еще приехала вчера на омнибусе какая-то женщина... Здоровенная бабища, да такая нахальная, так и пялит на вас глаза. Она вела за руку девочку, верно, сестру Мориса... Еще одна пожива для кюре!

Элина бледнеет, ее душат слезы. Фанни, ее деточка, здесь, совсем близко! Закрыв глаза, она видит перед собой милое худенькое личико, гладко причесанные волосы, перевязанные лентой, тонкие, шелковистые... Бедная малютка! Вдруг рядом за столом среди притихших от ужаса сотрапезников раздается хриплый голос бывшего арестанта:

— Это вы про того ублюдка со шлюзов? Вот потеха! Здорово я его отлупил нынче утром, загнал к чертовой матери! Будет помнить, сволочь!

Это злой дух говорит устами отрока Николая. Несчастный малый сам пугается своих слов, его одутловатое лицо багровеет и судорожно дергается, точно он чем-то подавился; все с тревогой следят за ожесточенной борьбой добра со злом в юной душе. Наконец негодник выпивает залпом стакан воды и, отдышавшись, затягивает стих из Эклезиаста: «Душа моя насытилась медом и елеем, и уста мои возносят хвалу господу...»

Аллилуиа! Дьявол и на этот раз посрамлен. Присутствующие вздыхают с облегчением. Под оглушительный грохот проходящего мимо двенадцатичасового поезда каждый встает из-за стола и складывает салфетку, прославляя всевышнего.

— Правда? Неужели правда?.. Ах, дорогое дитя, дай я тебя расцелую за эту радостную весть!

Жанна Отман, всегда такая холодная, порывисто обнимает Элину и увлекает ее за собою.

— Пойдем, пойдем, ты мне все расскажешь...

Но на пороге малой гостиной она спохватывается.

— Нет, пойдем в Обитель, там нам будет удобнее.

В Обитель? Какая честь для Лины!

На залитой солнцем террасе, на которую ее пелеринка отбрасывает резкую тень, Анна де Бейль останавливает хозяйку. s- Баракен пришел.

— Поговори с ним сама. Мне некогда, — говорит г-жа Отман и шепчет с тихим смешком:—Она спасена!

Потом владелица замка удаляется под руку с Элиной, а ее помощница начинает допрашивать старого матроса, который, поднявшись со скамейки и сняв фуражку, лениво почесывает лысую голову, влажную и круглую, как прибрежные валуны.

— Баракен! Почему вы перестали посещать молитвенные собрания?

— Да как вам сказать.

Матрос с сожалением глядит, как исчезает за поворотом аллеи черное платье евангелистки, зная по опыту, что с банкиршей куда легче столкнуться, чем с этой старой волчихой в полотняном чепце.

Оно, конечно, вера здешней барыни стоит всякой другой, да и мессу она служит похлестче любого кюре... Да что поделаешь? За это его, бедного старика, сыновья поедом едят; они живут здесь неподалеку и переманивают отца в ихнюю церковь... И то сказать, заглянул он наемдни в храм божий в Жювизи... Кой черт! Там свечи горят, богородица такая пригожая, вся в золоте... У него, у бедняги, все нутро перевернулось!

Хитрый старик уже не в первый раз ломает комедию в надежде урвать сорок франков и новенький сюртук. Анна де Бейль упирается. Забавно смотреть, как эти двое крестьян, стараясь перехитрить друг друга, торгуются, точно на базаре в Со, из-за старой, зачерствелой христианской души, которая, право же, не стоит ни гроша. Зато как обрадуется здешний кюре, если Баракен вернется в прежнюю веру! И все-таки старик, недовольно кряхтя, уходит ни с чем, скрюченный, сгорбленный, раскорячив кривые ноги. Анна де Бейль нарочно отпускает его, чтобы сбавить цену, но с полдороги зовет обратно:

— Баракен!

— Чего изволите?

Старая дева ведет его за собой по ступенькам в зеленую гостиную. Проходя мимо отрока Николая, безмолвного свидетеля этой сцены, крестьянин лукаво ему подмигивает, а поганец, закатив глаза и склонив

голову набок, произносит елейным голосом подходящий к случаю стих:

— «Я отпустил тебе грехи твои и облачил тебя в одежды новые».

Потом, оставшись один и сбросив маску святоши, сорванец пускается наутек, засунув руки в карманы и что-то насвистывая. Спустя минуту его тощая, расхлябанная фигура уже маячит на висячем мосту.

Хотя Элина уже почти месяц ездила в поместье Пор-Совер, она видела там только сад с цветущими клумбами, лестницу Габриэль и длинную, освещенную солнцем буковую аллею, ведущую к белым зданиям храма и школ. Все последние дни г-жа Отман водила ее взад и вперед по аллее, наставляя в вере и разъясняя ужасные последствия ее нечестивого брака.

— Господь покарает тебя в детях твоих и погубит родную мать... Лицо твое поблекнет от слез и покроется струпьями, как лицо Иова.

Бедная девушка оправдывалась, ссылаясь на данное ею обещание, на жалость к осиротевшим детям, и приезжала домой разбитая, обессиленная, в полном смятении, а два дня спустя они снова гуляли с г-жой Отман под благоухающей, звенящей птичьими голосами буковой листвой, сметая подолом черных платьев причудливые узоры солнечных бликов на песке аллеи. Пока евангелистка говорила о смерти, об искупительной жертве, Лине чудилось, будто из ее вскрытых жил вытекает вся кровь, вся воля, всякая вера в счастье.

На этот раз, изменив обычный маршрут прогулки, г-жа Отман повела девушку через весь парк, мимо посаженных в шахматном порядке деревьев, по широким, аккуратно вычищенным аллеям французского сада, где группы деревьев с высокими стволами, обвитыми, подобно мраморным колоннам, плющом и акантом, образуют портики и крытые галереи, где кусты самшита и тиса подстрижены в виде урн и шаров. Жанна Отман шла молча, опираясь на руку новообращенной, и Элину глубоко волновала эта торжественная тишина в преддверии Обители, нарушаемая только шелестом их юбок да треском веток, которые педантичная уроженка Лиона из любви к порядку подстригала на ходу.

Подойдя к железной решетке, преградившей им путь, Жанна Отман отперла заржавленный замок, и перед девушкой открылась совсем иная картина: старый, запущенный парк, заросшие травой дорожки, купы берез с трепещущей листвою, розоватые кусты вереска на лужайках, живые изгороди, птичий щебет, вязы, дубы, покрытые мхом у корней, высокие деревья, оставшиеся от прежнего векового леса. На поляне возвышался деревянный домик, настоящий швейцарский шале с наружной лестницей, с решетчатыми оконцами, с верандой под широким навесом кровли, укрепленной от горных ветров большими камнями.

Обитель!

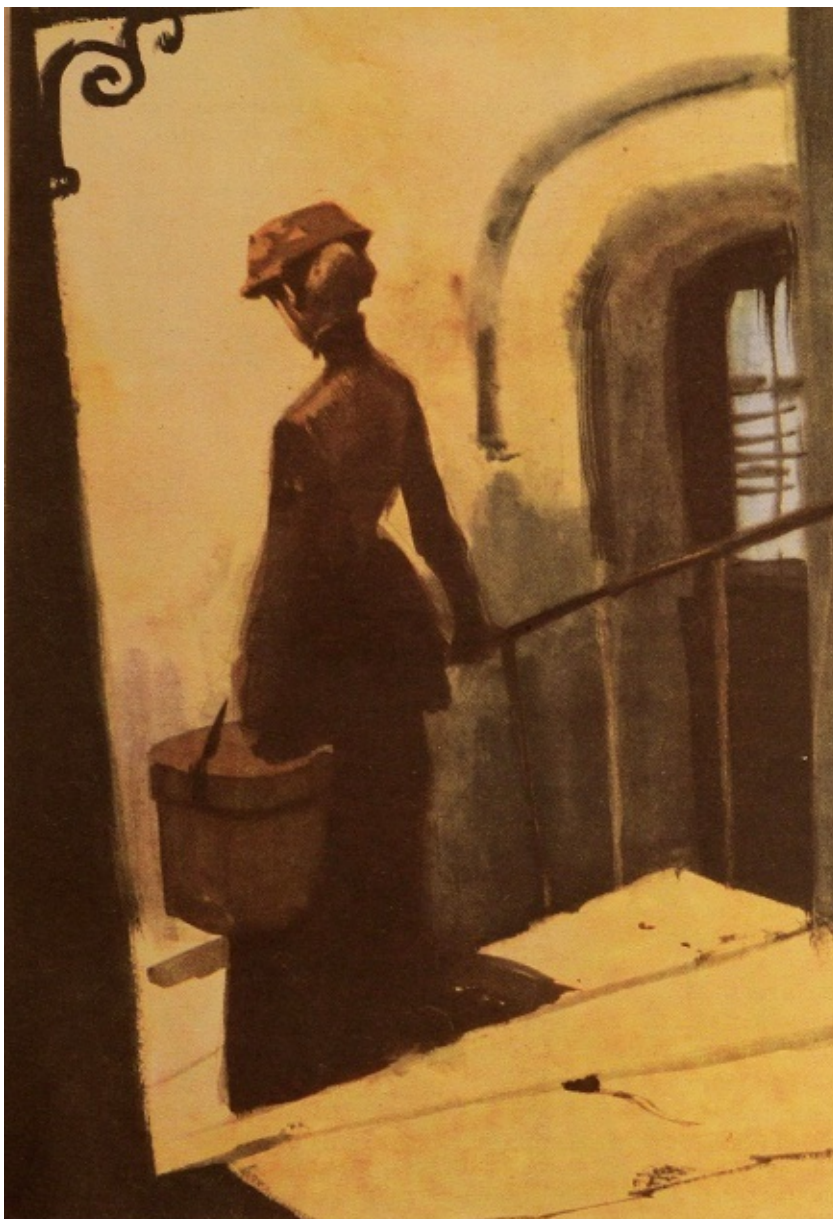
В первые годы замужества Жанна построила себе в старом парке, вдали от плавильных заводов и от замка нечестивой свекрови, это уединенное убежище — швейцарский домик — в память о Гриндельваль — де и мистических беседах со вседержителем. Учредив Общину евангелистов, она укрывала в Обители всех своих *работниц*, призванных распространять Евангелие, которые тут же, у нее на глазах, по несколько месяцев готовились к высокой миссии. Внизу, в унылой молитвенной зале, душной, как трюм миссионерских судов на английских китобойных промыслах в северных морях, эти избранницы учились возвещать слово божие; г-жа Отман и Жан-Батист Круза давали им уроки богословия и церковного пения. Остальное время прозелитки проводили в особых кельях, предаваясь благочестивым размышлениям, вплоть до того дня, когда Жанна, сочтя какую-нибудь девушку достойной, целовала ее в лоб и говорила: «Иди, дитя мое, и возделывай мой виноградник!»

И несчастные шли по ее приказу в промышленные города и заводские поселки, в Лион, Лилль, Рубе, туда, где люди погрязли в грехе и пороке, где души чернее кожи африканцев, чернее узких фабричных улочек, угольной пыли и кирки рудокопа. Они селились в рабочем предместье и приступали к апостольской деятельности: днем обучали детей по образцовой методе школ Пор-Совера, а вечером проповедовали Евангелие. Но почва виноградника была камениста и бесплодна, и лозы не давали урожая. Почти всюду им приходилось выступать в пустых холодных залах, терпеть насмешки рабочих, грубости и оскорбления, выносить придирки фабричного начальства, от которых не всегда мог их защитить на таком расстоянии от Парижа даже сам всемогущий Отман.



Но мужественные исповедницы, не впадая в отчаяние, продолжали сеять слово божие на скудном поле, ибо сказано в писании, что добрые семена, не больше горчичного зерна, могут взойти и принести плоды даже в самой неподатливой душе.

Нужна была горячая вера, глубокая убежденность, чтобы согласиться за сто франков в месяц вести на чужбине одинокую, тоскливую жизнь, на которую обрекала девушек г-жа Отман, отрывая их от родных и близких с тем же равнодушием, с каким она подрезала ветки деревьев в своем саду. Они жили, как монахини, только без монастырских решеток, но с тем же строгим уставом: по первому требованию настоятельницы отправлялись в путь, переезжали на новые места и каждый год неуклонно возвращались в Обитель, чтобы почерпнуть новые силы в учении Христа.



Иногда *работница* встречала во время своих странствий хорошего человека и бросала Общину ради замужества. Одна из них, одна-единственная, сбежала, похитив доверенные ей деньги на личные расходы, на наем помещения и на помощь новообращенным. Но по большей части все они ревностно служили своему делу, устремлялись к единой цели и доводили себя до религиозного экстаза, до фанатического безумия, нередкого среди женщин-протестанток, безумия заразительного, которое по временам, словно эпидемия, охватывает целый край; так было, например, в Швеции лет тридцать назад, когда на всех площадях, по всем проселочным дорогам бродили толпы ясновидящих и пророчиц.

Среди *работниц* г-жи Отман редко встречались красивые девушки

вроде Элины Эпсен. Почти все они, старообразные, болезненные, уродливые, одинокие, измученные нуждой, рады были найти здесь пристанище и принести в дар богу евангелистки то, что отвергли мужчины. В сущности, помощь этим несчастным была единственной пользой, единственной заслугой Общины, деятельность которой весьма мало соответствовала французскому характеру и могла бы дать много поводов для насмешек, если бы не причиняла подчас столько страданий, не вызывала столько слез. Поверьте, смотрителю маяка Ватсону было не до смеха, когда ночью, на дежурстве, он терзался тревожными думами: «Где она теперь? Что будет с детьми?» Навеки осиротевшая хозяйка трактира «Голодухи» тоже не смеялась, когда, рыдая у очага, среди веселого гвалта подвыпивших посетителей, вспоминала об умершей дочери и помешанном муже.

Бедняжка Дамур! Какая это была хорошенькая, скромная девочка! Г-жа Отман взяла ее из школы, а затем поселила в Обители с согласия матери, которая не знала толком, что там делается. Проповеди, церковное пение, разговоры о смерти, о вечном блаженстве, о вечном проклятии удручали эту выросшую на воле, еще не окрепшую натуру, и девочка впала в безысходную тоску. «Мне скучно... Я хочу домой!» — плакала бедная Фелисия. Анна де Бейль бранила ее, стращала, запугивала, не выпускала за порог.

И вдруг у новообращенной начались странные нервные припадки, непонятная слабость, болезненный бред; ей открывались в видениях тайны рая и ада, муки грешников, небесное блаженство праведников. То впадая в экстаз, то стуча зубами от ужаса, крестьянская девочка проповедовала, пророчествовала, ее худенькое тельце корчило в конвульсиях на кровати, громкие вопли разносились по всему парку. «Издали слышать, как она голосит...»- рассказывала несчастная мать, которую долго не допускали к дочке под предлогом, что больной вредно волноваться. Ей разрешили войти, когда уже началась агония: Фелисия никого не узнавала, лежала молча, стиснув зубы, запрокинув голову, точно в столбняке; ее неестественно расширенные зрачки, навели врача на мысль о причине загадочной смерти. Он предположил, что девочка по ошибке нарвала в парке ягод белладонны, приняв их за вишни.

— Да неужто моя доченька не отличила бы вишен от волчьих ягод? Ни в жизнь не поверю! — в отчаянии кричала обезумевшая мать.

Несмотря на диагноз врача, на официальный рапорт корбейского прокурора — образец юридического крючкотворства и лицемерной изворотливости, она осталась при своем убеждении, что ее дитя отравили,

одурманили зельем. Это мнение разделяла вся округа, и с тех пор в Пти-Поре пошла дурная слава о таинственном домике, украшенном деревянной резьбой, который издали виднелся зимою за голыми деревьями.

Но в этот час чудесного, ясного летнего дня Обитель, расположенная на розовой от вереска поляне, не казалась такой зловещей, и Лину охватило несказанно отрадное чувство, которое можно выразить тремя словами: свет, покой, благодать. О да, благодать!.. Замирающие женские голоса, молитвенные песнопения, звуки органа сливались со стрекотом кузнечиков в траве и жужжанием мошек, круживших высоко в голубом воздухе, как бывает в жаркую погоду... Перед входом в дом низенькая горбунья подметала ступеньки крыльца.

— Это Шальмет, — тихо сказала Жанна, знаком подзывая к себе работницу.

София Шальмет только что вернулась из Крезе, где ей пришлось вынести жестокие гонения. По вечерам шахтеры толпой вваливались в залу, захватив с собой водку, закуску, селедки, горланили, измывались над бедняжкой, заглушали ее проповедь пением Марсельезы. Особенно преследовали ее женщины: ругали, осыпали оскорблениями, швыряли в нее углем и грязью, без всякой жалости к несчастной калекке. Но что за беда? Она готова на все, готова снова ехать, если нужно.

— Когда прикажут... как только прикажут, — кротко говорила горбунья, сжимая длинными, торчавшими из-под пелеринки руками метлу, выше себя ростом, и ее худое лицо с острым подбородком дышало необыкновенной решимостью.

— Они все здесь такие! — объясняла г-жа Отман, поднимаясь по наружной лестнице и усаживая Элину рядом с собой на веранде под навесом крыши. — Все до одной! Но у меня их только двадцать, а мне нужны тысячи и тысячи, чтобы спасти мир...

Воодушевившись идеей всеобщего искупления, она начала объяснять цели и задачи Общины, план распространения своей деятельности за пределами Франции, в Германии, Швейцарии, Англии, где умы более восприимчивы к протестантской религии. Ватсон уехала проповедовать за границу, за ней последуют другие...

Г-жа Отман, боясь, что сказала слишком много, остановилась, но Элина не слушала ее. В эту решительную минуту своей жизни она углубилась в себя, отдаваясь упоительным неизъяснимым грезам, которые убаюкивали, уносили ее куда-то далеко. Перед верандой, на вершине ивы, пела птица, качаясь на ветке, котораягнулась под ее тяжестью. Элине казалось, что эта птица — ее душа.

— Значит, все кончено?.. Полный разрыв? — расспрашивала г-жа Отман, взяв ее за обе руки. — Именно так, как мы условились, не правда ли?.. Первое причастие мальчика? Отлично, очень хорошо! Отец, разумеется, не согласился. Ты не отвечала на письма, отказалась давать уроки Фанни? Так, превосходно!

Элина рассказывала о своей трудной борьбе с искушениями дьявола, об отчаянных призывах малютки Фанни, о ее протянутых ручонках и так же, как утром, за завтраком, не могла сдержать слез.

— Я так любила ее, если бы вы только знали! Как родное дитя. Это была для меня тяжелая жертва.

— Что это за жертва? — с возмущением воскликнула г-жа Отман. — Христос потребует от вас новых жертв, гораздо более тяжелых!

Элина Эпсен, содрогнувшись от этих жестоких слов, опустила голову, но не посмела спросить, каких еще жертв может потребовать от нее Христос.

XI. СОВРАЩЕНИЕ

— Вот и поезд!.. Я успела как раз вовремя!

Г-жа Эпсен, запыхавшаяся, нагруженная зонтиками и парой калош, завернутых в газету, бросилась к решетке перрона, к которому подходил шестичасовой поезд.

Час назад она спокойно сидела дома, накрыв на стол и поджидая дочь к обеду, как вдруг разразилась гроза, последняя летняя гроза с проливным дождем. Вспомнив, что Элина, отправляясь утром в Пор — Совер, была одета по-летнему, как все парижанки в этот день, — в легком платье и тонких туфлях, — испуганная мать опрометью бросилась к остановке омнибуса и помчалась на Орлеанский вокзал. Теперь она ждала, опершись на решетку перрона и пытаясь различить шляпку или кончик косы своей дочери в толпе суетливых, озабоченных пассажиров с корзинками и букетами, — отряхивая промокшие под дождем зонтики и плащи, толкаясь у выхода, они спешили сесть в омнибус. Слышались истошные вопли: «Держите собаку!.. Возьмите ребенка на руки!..»

Но сколько она ни наклонялась вперед, сколько ни приподнималась на цыпочки, заглядывая через решетку и через плечо контролера, чтобы осмотреть всю платформу и длинный ряд пустых, блестящих от дождя вагонов, черной шляпки Элины нигде не было видно. Однако благоразумная г-жа Эпсен не встревожилась, она объяснила себе это запоздание неожиданно хлынувшим ливнем. Ее дочь, без сомнения, приедет позже, со следующим поездом, — правда, не раньше восьми, так как курьерский не останавливается в Аблоне. Придется запастись терпением! Г-жа Эпсен принялась бодро расхаживать взад и вперед по опустевшему вокзалу, освещенному газовыми рожками, пламя которых, колебавшееся на ветру, отражалось на мокрых плитах платформы. Пронзительный свисток курьерского поезда оживил на минуту тишину сонного вокзала: послышался шум голосов, топот ног, скрип катившихся тележек. Потом все смолкло, и г-жа Эпсен слышала лишь гулкое эхо своих неторопливых шагов, журчание дождевых потоков да шелест бумаги в застекленной будке, где кто-то переворачивал листы толстой книги и громко сморкался.

Соскучившись ждать, голодная, с окоченевшими ногами, бедная мать утешала себя мыслью, что скоро-скоро они с дочкой усядутся вдвоем, друг против друга, в своем уютном гнездышке со стегаными креслами, перед

миской горячего «пивного супа». Восемь часов! Уже слышны свистки, пыхтенье прибывающего поезда. Дверцы отворяются, пассажиры выходят, а Элины все нет... Значит, ее уговорили переночевать в замке, и мать, вернувшись домой, наверное, получит депешу. Нет, право, г-жа Отман не должна была так поступать — она же знает их нежную взаимную привязанность, это *некарашо* с ее стороны! Да и Анне не следовало соглашаться. Бедная женщина, ворча про себя, шлепала по лужам под проливным дождем, возвращаясь одна с вокзала на улицу Валь-де-Грас по длинным проспектам мимо новых, еще не заселенных пятиэтажных домов, недавно оштукатуренных, с черными проемами окон.

— Есть депеша для меня, тетушка Бло?

— Нет, сударыня... Только газеты. Да как же это, почему же вы одна?

Бедная мать, теряясь в догадках, не имела сил ответить, от множества тревожных мыслей у нее стучало в висках. Неужели Лина захворала? Но тогда ее непременно известили бы: ведь не звери же там живут, в замке Отманов!.. Что же делать? Ехать туда сейчас, ночью, в такую погоду? Нет, лучше подождать до утра... Какой грустный, тоскливый вечер, вроде того вечера, когда они вернулись с похорон бабушки: то же ощущение пустоты, одиночества, только теперь с ней нету Лины, теперь она одна, совсем одна со своим горем и неотвязными, тревожными думами!

Внизу, в квартире Лорн, темно... С тех пор как он отправил Сильваниру с детьми на шлюзы, бедный вдовец возвращался домой поздно вечером, избегая мучительных встреч с соседками, так как девушка перестала отвечать на его письма, даже на то последнее, в котором он сообщал, что согласен подчиниться, принять все ее условия, перейти вместе с детьми в протестант*скую веру. И г-жа Эпсен уже месяца два не навещавшая Лори, вдруг почувствовала угрызения совести, что не заступилась за этого хорошего человека, жестоко обиженного капризной Элиной. Нужно самой испытать #9632; страдания, чтобы понять всю тяжесть глубоко затаенного чужого горя.

Бедная мать не ложилась в постель и всю ночь не гасила лампы, лихорадочно прислушиваясь к стуку колес редких экипажей, все еще предаваясь безрассудной надежде. «Третья карета, что подкатит, остановится у подъезда...» — суеверно загадывала она. Но и третья и четвертая проезжали мимо, пока наконец на рассвете не затарахтела тележка молочника. Тогда, прикорнув в кресле, она забылась тяжелым сном, измученная, одурманенная, с раскрытым ртом, с опухшим, помятым лицом, точно сиделка после бдения у постели умирающего. Ее разбудили резкие звонки и громкий голос тетушки Бло:

— Госпожа Эпсен! Госпожа Эпсен! Вот пришло письмо, уж верно, от вашей барышни!

При утреннем свете, заливавшем гостиную, она увидела конверт, торчавший из-под двери, и поспешила поднять его... Письмо от Элины, стало быть, она не больна. Что же она пишет? Вот что:

«Дорогая мама! Из боязни огорчить тебя я до сих пор откладывала решение, уже давно созревшее в моей душе. Но час настал. Господь призывает меня, я иду к Нему. Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко. Надолго ли мы расстанемся и сколько времени продлится мое испытание, я не знаю, но я позабочусь о том, чтобы ты получала мои письма и чтобы мне доставляли твои. Будь уверена, дорогая мама, что я не забываю о тебе и постоянно молю Спасителя. Да благословит Он тебя и по неизреченному милосердию своему да ниспошлет тебе мир душевный.

Искренне преданная тебе дочь *Элина Эпсен*.

В первую минуту г-жа Эпсен ничего не поняла и перечла письмо вслух, медленно, фразу за фразой, до самой подписи... Элина... Неужели это писала Элина, ее дитя, ее маленькая Лина?.. Не может быть!.. Однако почерк, правда, не совсем твердый, очень походил на почерк ее дочери... Ну, так и есть, эти помешанные ханжи водили ее рукой, диктовали ей каждое слово, не могла же сама Лина написать такое бесчеловечное письмо... Но откуда же оно пришло? На марке штемпель Пти-Пора!.. Господи! Значит, Лина все еще там, надо только поехать туда и отговорить дочку от ее безрассудного решения... Но все — таки какая жестокость, как они посмели отнимать у матери ее дитя, ее *оношаемую* Линетту!.. Какая выгода этой подлой г-же Отман разбивать сердца, разлучать семьи?.. Ну, пусть только попробует, мы еще посмотрим!

Громко разговаривая сама с собой и сопровождая свои слова гневными жестами, г-жа Эпсен наскоро причесалась, освежила лицо, заплаканное, опухшее после бессонной ночи, и собралась в дорогу. Купив билет и заняв место в вагоне, она несколько успокоилась и начала припоминать по порядку, каким образом эта вероломная евангелистка постепенно опутала, заманила Элину в свою секту; припомнила первый визит Анны де Бейль, бесцеремонные расспросы об их знакомствах в Париже — вероятно, она хотела удостовериться, что с ними можно действовать безнаказанно; потом молитвенное собрание на авеню Терн, где ее дочь стояла на эстраде рядом с помешанной англичанкой... Боже, как это было ужасно!.. И, наконец, коварный вопрос г-жи Отман, приехавшей нанимать Элину в свои школы: «Вы очень любите вашу дочь?..»-ее холодный, властный голос, ее красивый рот с поджатыми губами.

Как она могла не замечать этого раньше? Какое ослепление, какое недомыслие! Она сама, она одна виновата во всем. Элина вовсе не дорожила переводами, религиозными бреднями, постепенно отравившими ей душу, она даже не хотела ехать на молитвенное собрание. Мать настаивала на этом из корысти, из тщеславия, желая завязать знакомство с Отманами, влиятельными богачами. Глупая, неразумная мать!.. Г-жа Эпсен горько раскаивалась, осыпала себя упреками и проклятиями.

Аблон!

Выйдя из вагона, г-жа Эпсен даже не узнала станции, даже не вспомнила о веселой прогулке, которую они все вместе совершили здесь весной. Так быстро меняются в наших глазах впечатления от природы, так много личного в наших суждениях о людях и пейзажах! Она вспомнила только, что Элина ездила отсюда в Пор-Совер в омнибусе, и решила справиться на станции. Нет, сказали ей, к этому поезду омнибуса не подадут, но она может свернуть на проселок, который приведет ее прямо к замку, — туда всего полчаса ходьбы.

Стояло теплое, мягкое утро, белая пелена тумана заволакивала размокшие за ночь поля, словно дожидаясь полудня, чтобы излиться дождем или испариться в солнечных лучах. Г-жа Эпсен долго шла мимо каменной стены, которой обнесена была усадьба и которая сменялась высокой решеткой, а за решеткой открывались зеленые газоны, цветущие клумбы, симметрично посаженные апельсиновые деревья, открывалось лето в цвету, застигнутое дождем и дрожащее в сыром тумане, как вчерашние парижанки в летних платьях. Потом она очутилась в сельской местности: виноградники на отлогих склонах, гряды свеклы, стаи ворон на пашне, картофельные поля, на которых тесные ряды мешков и силуэты крестьян, мужчин и женщин, выделялись мутными, серыми пятнами в белом тумане, стелившемся над самой землей.

Эта унылая картина до боли угнетала бедную мать, и чем ближе она подходила к Пор-Соверу с его красными кровлями и тенистыми деревьями на склоне холма, тем сильнее сжимала ее сердце тоска. Обогнув бесконечно длинную ограду парка, густо обвитую плющом и багряными листьями дикого винограда, она пересекла полотно железной дороги и вышла на берег Сены, как раз против замка. Газон в виде полумесяца перед подъездом, окаймленный тумбочками на железных цепях, длинное здание с плотно закрытыми ставнями, массивная решетка, сквозь которую ее глаза различают лишь кроны деревьев... Да, это здесь.

Г-жа Эпсен тихонько позвонила, потом еще раз, погромче, и, дожидаясь у ворот, приготовила свою первую фразу, короткую и уctивую.

Но лишь только ворота растворились, она стремительно ворвалась в сад, задыхаясь от волнения, позабыв обо всем.

— Где моя дочь? Где она?.. Сейчас же, сию минуту!/. Я хочу ее видеть!

Лакей, в черном фартуке, с серебряными буквами «П. С.» на воротнике суконной куртки, отвечал, как ему было приказано, что мадемуазель Элина вчера уехала из замка, и прибавил в ответ на возмущенный жест г-жи Эпсен:

— Впрочем, сама барыня сейчас дома. Если вам угодно, она может вас принять.

Следуя за ним, г-жа Эпсен прошла по аллее, по террасе, поднялась по ступенькам крыльца, ничего не замечая вокруг себя, и очутилась в маленькой зеленой гостиной, где г-жа Отман, прямая и стройная, что-то писала за письменным столом. При виде ее знакомого лица, ее кроткой сдержанной улыбки бедная мать несколько успокоилась.

— Сударыня!.. Моя Лина!.. Это письмо... Что все это значит?

И она залилась слезами; все ее толстое, рыхлое тело сотрясалось от судорожных рыданий. Г-жа Отман подумала, что ей нетрудно будет справиться с этой слабой, плачущей женщиной, и, усадив ее рядом с собой на диван, начала успокаивать кротким, елейным голосом... Полно, не нужно отчаиваться, напротив, надлежит радоваться и славить бога, что он удостоил просветить ее дитя, извлечь юную душу из черной могилы, из мрачной бездны греха. Но подобные мистические утешения только терзали живое, трепещущее от боли сердце матери, будто прижигали ее рану раскаленным железом.

— Все это пустые фразы... Отдайте мне моего ребенка!.. Я требую!..

— Элины здесь нет...

Опечаленная этой кощунственной вспышкой, г-жа Отман сокрушенно вздохнула.

— Так скажите мне, где она!.. Я хочу знать, где моя дочь!..

Председательница, видимо, привыкшая к такого рода объяснениям, спокойно ответила, что Элина Эпсен покинула Францию и уехала проповедовать евангельское учение в других странах. Может быть, в Англию или в Швейцарию, это в точности неизвестно. Как бы то ни было, Элина не преминет написать своей матери, к которой навсегда сохранит самые преданные дочерние чувства, как и подобает истинной христианке.

Она как бы пересказывала письмо Лины, почти в тех же выражениях, медленно, убедительно, невозмутимо кротким тоном, который приводил в исступление г-жу Эпсен. Несчастливая готова была растерзать эту корректную, изящную женщину, затянутую в черное платье, оттенявшее

бледность ее тонкого лица с выпуклым лбом и большими прозрачными глазами почти без зрачков, глазами холодными и жесткими, как камень, в которых не выражалось ни жалости, ни сочувствия.

«О, я задушу ее!..» — думала бедная мать, но ее судорожно стиснутые руки с мольбой простирались к г-же Отман.

— Сударыня! Верните мне мою маленькую Лину! У меня нет никого на свете, кроме нее. Если она уйдет, я останусь совсем одна... Боже мой! Мы были так счастливы с нею!.. Вы же видели наш уголок, наше милое, уютное гнездышко... Мы никогда не ссорились, да у нас и негде ссориться.... Мы только и делали, что обнимались.

Бурные рыдания, снова нахлынувшие на измученную женщину, заглушали ее бессвязные мольбы. Она просила только об одном: повидаться с дочкой, поговорить с ней, и если все это правда, если Лина сама подтвердит свое решение... Ну что ж! Тогда она уступит, не будет противиться, она дает клятву.

Свидание! Именно этого-то Жанна Отман и не могла допустить. Она предпочитала утешать несчастную цитатами из Священного писания, христианскими изречениями из своих брошюр: *утешение во Христе... скорбь, располагающая к молитве...* Вдохновившись своей проповедью, она воскликнула в страстном порыве:

— Но ведь это вас, неразумная вы женщина, вашу бессмертную душу хочет спасти Элина, и ваша материнская скорбь есть начало спасения!

Г-жа Эпсен слушала, не поднимая глаз, до глубины души возмущенная этим ханжеством. Потом вдруг заявила твердым, решительным тоном:

— Ну *карашо*... Значит, вы не хотите вернуть мне Лину?.. Тогда я обращусь к правосудию. Мы еще посмотрим, дозволены ли законом подобные преступления!

Нисколько не испугавшись этой угрозы, Жанна Отман, величественная, бесстрастная, как сама судьба, вежливо довела посетительницу до крыльца и знаком приказала лакею проводить ее к воротам. На полдороге несчастная мать обернулась, задержавшись на террасе, где еще вчера, даже, может быть, нынче утром, гуляла Лина. Она окинула взглядом громадный, безмолвный, окутанный туманом парк, над которым возвышался, точно над кладбищем, белый каменный крест.

Ей захотелось ринуться в эту густую чащу, к могильному склепу, где — она чувствовала! — замурована, заживо погребена ее дочь, выломать двери с отчаянным криком: «Лина!..» — схватить свою девочку в объятия, увезти далеко-далеко, вернуть ее к жизни... Все это молнией промелькнуло в ее голове. Но несчастную удержал стыд, сознание своего бессилия,

безотчетный страх перед окружающей роскошью и образцовым порядком, которые невольно подавляли ее.

Обратиться к правосудию! Вот единственное, что ей остается.

Решительным, уверенным шагом г-жа Эпсен направилась к деревне, обдумывая свой план, самый простой и естественный. Она пойдет прямо к мэру, подаст жалобу и вернется в замок в сопровождении жандармов или стражников, которые принудят эту изуверку вернуть ей дочь или сказать, куда они ее спрятали. Нимало не сомневаясь в успехе, она даже спрашивала себя, испробовала ли она все способы уладить дело миром, прежде чем обратиться к властям. О да, она плакала, умоляла, простирала руки, но получала отказ. Ну что ж, тем лучше! Пусть проучат хорошенько эту воровку, которая крадет детей!

На единственной улице деревни Пти-Пор, по которой подымалась г-жа Эпсен между рядами одинаковых домиков с узкими палисадниками, стояла сонная тишина. Должно быть, все работали в поле, убирали урожай. Редко-редко приподнималась в одном из домов занавеска или со двора выбегала собака, обнюхивая незнакомые следы. Занавеска тут же опускалась, а собака не лаяла. Ничто не нарушало угрюмого молчания этого странного поселка — не то казармы, не то тюрьмы.

Наверху, на площади, между вязами, посаженными в шахматном порядке, сверкала белизною под пасмурным небом заново окрашенная каменная церковь с двумя евангелическими школами по бокам. Г-жа Эпсен остановилась под высокими приотворенными окнами школы для девочек, прислушиваясь к хору тоненьких голосов, которые твердили по складам, не переводя дыхания: «Кто по-до-бен пред-веч-но-му гос-по-ду на не-бесах? Кто срав-нит-ся со все-мо-гу-щим гос-по-дом сре-ди ца-рей?..» — и к ударам линейки по столу, отбивавшей такт то медленнее, то быстрее.

Не войти ли ей туда?

В этой школе Элина давала уроки. Может быть, о ней там что-нибудь знают? А может быть-как знать! — она просто сидит там сама на обычном месте, за учительским столом?.. Г-жа Эпсен отворила дверь. Она увидела классную комнату с побеленными стенами, сплошь исписанными библейскими текстами, и длинные ряды парт, за которыми сидели загорелые деревенские девочки в черных блузах и черных монашеских чепчиках. В глубине комнаты отбивала такт долговязая девица с бледным, одутловатым лицом, держа в одной руке Библию, в другой — линейку. При появлении г-жи Эпсен наставница, прервав урок, поспешила ей навстречу, и все детские головки с любопытством повернулись к двери.

— Ради бога, мадемуазель!.. Я мать Элины...

— Продолжайте, дети! — в испуге крикнула ученикам смиренная мадемуазель Аммер так громко, как только могла. И весь класс снова затянул хором на одной ноте: «О пред-веч-ный бо-же...» По-видимому, бедняжка Аммер была потрясена, судя по тому, с каким азартом она подталкивала к двери г-жу Эпсен, отвечая на все ее вопросы: «М-мда... м-мда». В ее скорбном, унылом голосе слышались жгучий стыд и отчаяние, в какое до сих пор, после стольких тысячелетий, повергало ее скандальное приключение Адама и Евы под яблоней.

— Вы знаете мою дочь?

— М-мда...

— Она преподавала в этом классе?

— М-мда...

— Правда ли, что она уехала?.. Скажите, ради бога, сжальтесь надо мной.

— М-мда... М-мда... Я ничего не внаю... Спросите в замке.

И эта робкая особа со здоровенными кулачищами брата милосердия вытолкала посетительницу из залы и заперла дверь на ключ, между тем как весь класс продолжал яростно зубрить: «Пу-ти все-дер-ж и-те-л я прямы пра-вед-ни-ки пой-дут по ним...»

На противоположной стороне площади развевался трехцветный флаг над каменным зданием мэрии с крупными черными буквами на серой стене «Ф. Р.» (Французская республика), которые г-жа Отман еще не осмелилась заменить своими «П. С.» (Пор-Совер). В нижнем этаже сидел у окна и что-то писал тучный человек с бледным лицом, похожий на пономаря. Он оказался секретарем мэрии, но г-жа Эпсен хотела непременно видеть самого мэра.

— Его здесь нет... — отвечал секретарь, не поворачивая головы.

— В какие часы он принимает?..

— От шести до семи, ежедневно, в конторе замка.

— В замке? Так, значит, мэр.... — Да, это господин Отман.

Стало быть, на его поддержку надеяться нечего. Тогда бедная мать подумала о здешнем кюре: он, вероятно, враг Отманов и не откажет ей в добром совете или в содействии. Спросив, как пройти к его дому, г-жа Эпсен быстрым шагом направилась к реке. Во дворе конторы с надписью «Доставка к железнодорожной станции. Наемные кареты» запрягли лошадей в небольшой омнибус. Подойдя к кондуктору, она спросила, знает ли он высокую красивую блондинку в трауре, и, чтобы оживить его память, сунула ему в руку серебряную монетку... Ну еще бы, как не знать! Он сам возил барышню сюда три раза в неделю.

— Она вчера не приезжала? Или нынче утром?.. Вспомните, умоляю вас! — Тут она имела неосторожность добавить: — Это моя дочь... Они ее похитили...

Кондуктор пришел в замешательство... У него сразу отшибло память... Не приезжала ли барышня вчера?.. Право, он не помнит, надо спросить в замке... Вечно этот замок! В воспаленном мозгу несчастной матери дом Отманов, это длинное серое здание, ширилось, выросло, превращалось в темницу, в крепость, в один из грандиозных феодальных замков с глубокими рвами, башнями, крепостными бастионами, бросавшими мрачную тень на всю округу.

Домик священника на берегу реки, у небольшой излучины, где крестьянки, присев на корточки, полоскали белье, напоминал рыбацью хижину; у крыльца была привязана лодка, а перед домом сушились на двух шестах, растянутые, точно гамаки, длинные рыболовные сети. Плотный, коренастый кюре с широким, румяным, детски-добродушным лицом и ямочками на щеках сразу внушил г-же Эпсен доверие. Он учтиво пригласил почтенную, хорошо одетую даму в маленькую приемную нижнего этажа, пропитанную речной свежестью, но незнакомка с первых же слов напугала его:

— К вам обращается несчастная мать с просьбой о помощи и содействии...

У бедного кюре никогда не было ни гроша за душой, однако следующая фраза ужаснула его еще больше:

— Госпожа Отман похитила у меня дочь!..

Не заметив, какое холодное, безучастное выражение появилось вдруг на благодушном лице священника, посетительница с волнением принялась изливать свое горе. Но кюре не забыл наставлений епископа о могуществе Отманов, он отлично помнил злосчастную судьбу сестры Октавии и считал рискованным впутываться ради чужих людей в столь опасное дело. Он живо перебил свою гостью:

— Извините, сударыня... Ведь вы протестантка?.. Как же вы хотите, чтобы я в это вмешивался?.. Это дело семейное, в нем гораздо лучше разберутся ваши пасторы...

— Но, господин кюре, это вопрос скорее человеколюбия, чем вероисповедания... К вам обращается женщина, мать... Неужели вы оттолкнете меня?..

Священник понял, что обошелся с ней слишком резко, и постарался смягчить свой отказ выражением сочувствия... О, разумеется, это весьма прискорбная история, слезы бедной дамы искренне его растрогали...

Бесспорно, та особа, о которой идет речь — нет нужды называть ее, не правда ли? — слишком рьяно, слишком беззастенчиво пропагандирует свою веру, ее слепой фанатизм заслуживает порицания... Он сам пострадал из-за нее... Впрочем, женщины всех вероисповеданий бросаются вперед очертя голову, не зная меры, не считаясь со здравым смыслом. Католическим священникам то и дело приходится осаживать экзальтированных богомольных дам, которые под предлогом украшения алтарей и ухода за цветами в храме вмешиваются в дела церкви. Но у протестантских пасторов нет такого авторитета... Да и чего можно ожидать от религии, допускающей критику догматов, свободу исследования, не признающей дисциплины, чего ожидать от церкви, куда заходят как на мельницу, где каждый верит во что хочет и может даже играть роль священника, если ему взбредет в голову?...

— Вот почему в протестантстве такое множество сект и ересей!..

Кюре оживился, радуясь случаю излить накопившую в нем злобу на Лютера и Кальвина и заодно блеснуть своей ученостью, ибо в свободное от богослужений время он основательно изучил этот вопрос; он стал называть бесчисленные секты, на которые, не говоря уж об основном расколе между либеральным и ортодоксальным течением, распадается реформатская церковь.

— Давайте сосчитаем... — говорил он, загибая один за другим толстые пальцы, покрытые мозолями от весел и сетей. — Во-первых, ирвингианцы, призывающие возвратиться к идеям первых веков христианства; затем саббатисты, празднующие субботу, подобно евреям; мытари, чье благочестие состоит в том, что они бьют себя кулаками в грудь; дербисты, отрицающие всякую церковь и не признающие посредничества между собой и богом; далее методисты, веслианцы, мормоны, анабаптисты, ревуны, трясуны... Кто еще?..

Измученная женщина слушала этот длинный перечень, и ей казалось, будто все эти секты и ереси воздвигают новые преграды между нею и дочерью. Прикрыв рукой глаза, она шептала: «Дитя мое!.. Дитя мое!..» — с таким горестным выражением, что священник растрогался до глубины души.

— Полно, сударыня, ведь есть же законы в конце концов!.. Надо поехать в Корбей... подать жалобу прокурору... Правда, вы имеете дело с сильным противником. Несколько лет назад, когда было начато следствие при подобных же обстоятельствах... Но это случилось еще при правительстве Шестнадцатого мая, а теперь, при нашем истинно республиканском строе, вы, несомненно, будете счастливее.

Последние слова он произнес с лукавой улыбкой, и его детски-добродушное лицо разгладилось.

— Корбей далеко отсюда? — спросила г-жа Эпсен.

Нет, Корбей недалеко. Ей нужно идти вдоль берега до Жювизи и там сесть на поезд, который довезет ее до Корбея за двадцать минут.

И вот бедная женщина поплелась по узкой тропинке, ведущей к Жювизи; она уже могла бы разглядеть вдалеке его белые домики, сгрудившиеся на берегу, у излучины Сены, если бы густой туман не заволакивал все кругом на расстоянии пятидесяти шагов.

Река, медленно струившаяся под тяжелой пеленой нависшего тумана, словно застыла меж берегов, окаймленных смутными силуэтами деревьев. Изредка виднелась на воде неподвижно стоявшая лодка и в ней фигура рыбака с длинной удочкой в руке. Сонная тишина, застывшая в воздухе, томительное чувство ожидания и тоски угнетали несчастную мать. Разбитая, обессиленная, ничего не евшая со вчерашнего дня, обмякшая от слез, она с трудом брела по неровной, заросшей травой вязкой дороге, спотыкаясь на каждом шагу.

Мысли то обгоняли ее, то возвращались обратно, точно непослушные дети. Она уже представляла себе, как войдет к прокурору, что ему скажет, что он ей ответит. И вдруг, шагая по пустынной дороге, увязая в грязи, она остро почувствовала свое одиночество, беспомощность, полную безнадежность борьбы... К чему идти за жандармами, требовать, чтобы силой вернули домой ее дитя? Чем ей помогут судьи, жандармы, если дочка разлюбила ее?.. Мать повторяла слово за словом ужасное письмо, которое она столько раз перечитывала с самого утра: «Господь призывает меня, я иду к Нему... Искренне преданная тебе дочь...»

Ее Лина!.. «Искренне преданная тебе дочь»!.. Нет, этому нельзя поверить!.. Думая о неблагодарности Элины, мать вспоминала все, что сделала для нее... Недосыпала ночей, работала, надрывалась, лишь бы у дочки было все необходимое, лишь бы дать ей образование, воспитать ее как настоящую барышню... Сама ходила в обносках, в заплатках, только бы отдать девочку в пансион во всем новеньком, с приличным гардеробом... И когда после стольких трудов, стольких лишений девочка выросла, стала красивой, умной, *обрисованной*, она вдруг пишет матери: «Господь призывает меня, я иду к Нему»!

У бедной женщины подкашивались ноги. Чтобы передохнуть, она опустилась на груды красноватых камней, сваленных для какой-то постройки у самого берега, среди крапивы и высоких зеленых растений, которые сохраняют дождевую воду в чашечках, точно яд в кубках. Г-жа

Эпсен поставила промокшие ноги на доску причала, одним краем погруженную в воду; на гладких покатых мостках так удобно было бы растянуться усталой, несчастной путнице! Но она и не думала об этом — ей не давала покоя мучительная неотвязная мысль...

Что, если та страшная женщина права, что, если сам бог призвал ее дочь, похитил ее, как вор?.. Ведь не колдунья же эта Жанна Отман, ведь нужны сверхъестественные, мистические силы, чтобы свести с ума взрослую, двадцатилетнюю девушку! Ей приходили на память обрывки фраз из проповеди евангелистки, тексты из Священного писания, которые загорались, словно огненные библейские письма, в ее воспаленном мозгу: «Не любите. — Тот, кто оставит отца своего и мать...» Но если так, кому по силам противостоять богу?.. Чего же она идет искать в Корбее?.. Защиты?.. От кого? От бога?..

Сидя в изнеможении на груди камней, г-жа Эпсен неподвижно глядела на тяжелые, мутные воды Сены, змеившиеся широкими темными полосами, и мрачные мысли глухо бурлили и клокотали, точно паровая машина, в ее бедной, больной голове... Моросил мелкий, пронизывающий дождь, окутывая своей частой сеткой серое небо и воду... Г-жа Эпсен попыталась подняться на ноги и продолжать свой путь, но все закружилось перед ней — берег, река, деревья, — и, закрыв глаза, раскинув руки, она рухнула без чувств на мокрую, грязную траву.

XII. РОМЕН И СИЛЬВАНИРА

Все так же бурлит и клоочет паровая машина, только ближе, громче, где-то рядом. Но тяжесть в голове прошла, и в ушах больше не звенит. Г-жа Эпсен открывает глаза и с удивлением озирается, не видя ни берега, ни груды камней. На чьей это широкой кровати она лежит? Что это за комната с желтыми занавесками, сквозь которые пробивается дневной свет, бросая дрожащие, волнообразные отблески на потолок и стены? Она уже где — то видела такой же коврик с яркими розами, такие же аляповатые лубочные картинки, а услышав свистки под окном и крики: «Эй. Ромен!..», заглушавшие шум пенящихся волн вдоль дамбы, она сразу отдает себе отчет, где находится. Из проема двери смотрит на нее худенькая светловолосая девочка в деревенском фартучке, потом она вдруг выбегает и кричит голосом Фанни:

— Няня Сильванира! Она очнулась!..

И вот они обе, Сильванира и Фанни, склоняются над изголовьем кровати. Бедной матери так приятно видеть славное лицо служанки, почувствовать на щеке прикосновение шелковистых детских волос! Боже мой! Но что же случилось? Как она попала сюда?.. Сильванира и сама этого не знает. Вчера, возвращаясь после урока от кюре, Морис вдруг увидел на полосе бечевника г-жу Эпсен, лежавшую без чувств прямо на земле. Доктор из Аблона объяснил, что это — небольшое кровоизлияние, и даже два раза пустил ей кровь, но сказал, что ничего опасного нет. Однако Сильванира сразу послала депешу мадемуазель Элине... Здесь это удобно: ведь телеграф-то под рукой, в самом доме.

Тут жена Ромена останавливается на полуслове, увидев, что г-жа Эпсен, бледная как полотно, рыдает, уткнувшись в подушки. Услышав имя дочери, она вспоминает все, и боль отчаяния после краткого забытья охватывает ее с новой силой.

— Нет больше Элины... Уехала... Госпожа Отман...

По бессвязным словам и стонам больной Сильванира догадывается о происшедшей катастрофе, и это ничуть ее не удивляет. О барыне из Пор-Совера уже давно идет дурная слава, не в первый раз она пускается на такие штуки. Теперь она околдовала мадемуазель «Элину, как раньше навела порчу на дочку Дамуров, на дочку Желино — опоила их своим зельем, будь она неладна!

— Зельем?.. Вы так думаете? — с облегчением переспрашивает бедная

мать: она была бы рада свалить на Отманов всю ответственность.

— Конечно, зельем, а то чем же?.. Иначе ничего бы у ней не вышло!.. Да вы не убивайтесь, сударыня, вернутся красные деньки. Отдадут вам вашу барышню... Только в здешних местах вы ничего не добьетесь: здесь эти самые Отманы вроде как короли... Надо поехать в Париж, заявить куда следует. Наш барин знаком с министрами, он похлопочет... Все обойдется, вам не долго осталось ждать...

Открытый взгляд славной Сильваниры, ее чистосердечные, наивные советы словно вливают мужество и надежду в жилы больной... Она вспоминает о своих богатых, влиятельных друзьях, о семье д'Арло, о баронессе Герспах. Надо всех повидать, всех поднять на борьбу с этой изуверкой. Если бы не уговоры Сильваниры, г-жа Эпсен сразу вскочила бы с постели и уехала в Париж.

Но доктор, опасаясь нового приступа, велел полежать несколько дней. Ну что ж! Ради дочери надо быть благоразумной.

Каким долгим показалось ей выздоровление, какие томительные часы провела она в домике шлюзовщика, глядя в окошко спальни! Она проверяла время по каравану буксирных судов, проходившему мимо точно по расписанию, считала баржи, шаланды, дровяные плоты, сонно плывущие по течению с плотовщиком в матерчатой фуражке, — плотовщик, согнувшись, управлял длинным рулевым веслом. По вечерам на переднем плоту зажигался красный фонарь, отражаясь в воде. Больная провожала взглядом красный огонек, пока он не исчезал во мгле, и думала: «Теперь они в Аблоне... У Английской гавани... Вот они в Париже...»

При ее возбужденном состоянии эта спокойная река, матросы, суда, плывущие мимо с раздражающей медлительностью, вызывали в ней досаду. Г-жа Эпсен распределяла по дням свое выздоровление: столько-то дней она проводит в постели, столько-то — в кресле, затем походит по комнатам, чтобы размять ноги, — и в дорогу! Ее трепала лихорадка, точно узницу, которая считает последние часы, оставшиеся до освобождения.

А между тем за ней трогательно ухаживали на шлюзе. Ромен из уважения к горю бедной матери старался не петь и не смеяться громко, хоть и трудно ему было удержаться: уж очень он радовался, что жена его с ним, при нем, что наконец-то они вместе. Когда он тихонько входил в комнату больной и ставил на комод громадный букет из ирисов, камышей, водяных лилий — никто не умел подбирать цветы лучше его, — то нарочно, еще за порогом, думал о чем-нибудь печальном: а вдруг Сильванира захворает или хозяин вызовет ее в Париж с детьми?.. Но Сильваниру только раздражали его сдержанность, его лицемерно

потупленные глазки, его любимая поговорка: «Разрази меня гром, госпожа Эпсен!»-и она быстро выпроваживала мужа на улицу, чтобы он проветрился, отрезвел от своего блаженного опьянения, эгоистического, как всякое большое счастье.

Лучше всего г-жа Эпсен чувствовала себя с малюткой Фанни; она усаживала девочку возле себя с каким — нибудь рукоделем и целыми днями говорила с ней об Элине:

— Ведь правда, ты ее очень любила?.. Тебе бы хотелось, чтобы она стала твоей мамой?..

Нежный пушок свежей щечки напоминал бедной матери детские доски Лины; ей казалось, что на шелковистых волосах Фанни остался след ее руки. Иногда, глядя на толстый деревенский платок, от которого девочка казалась сутулой, на ее чепчик, на ее деревянные башмаки, на ее холодные ручонки, красные, как осенние яблоки, г-жа Эпсен с горечью думала о том, как Фанни погрубела без материнского ухода, как переменилась и нравственно и физически.

В Морисе эта перемена еще больше бросалась в глаза. От блестящего моряка, будущего гардемарина, как его с гордостью представляли гостям в салоне супрефекта, осталась только рваная фуражка с галуном, сам же он обратился в толстого, загорелого деревенского увальня. Он все еще собирался поступать в морское училище, но теперь, отложив занятия под предлогом подготовки к первому причастию, наслаждался свободой, шатаясь по берегу реки! Но ему отравляли жизнь отчаянные драки с отроком Николаем из Пор-Совера, который всякий раз подстерегал его при выходе из дома кюре... Ох уж этот Николай!.. Из-за него бедного малого мучили кошмары по ночам, а днем он с ужасом рассказывал о своем враге сестренке, которая возмущалась, что Морис, будущий офицер, — такой трус.

— Уж я бы ему задала, будь я на твоём месте!.. — стыдила она брата.

На шлюзе много было разговоров об этих яростных драках, после которых Морис прибегал бледный, задыхающийся, в разодранной одежде.

— Ну, попадись он мне только, плохо ему придется!.. — грозила Сильванира.

Но, к счастью для отрока Николая, ей некогда было отлучиться из дому. Ромен учил ее работать на телеграфном аппарате, на ней лежала стирка белья, заботы о муже, детях и даже о Баракене — вероотступник жил у них в доме, здесь же спал и столовался, так что за обедом они опасались говорить при нем о замке Отманов и об Элине. Нельзя сказать, чтобы Баракен был дурным человеком, но за стаканчик

спиртного он готов был продать и друзей и собственную шкуру, также как с легким сердцем продавал сюртуки, полученные в Пор-Совере. А потому Сильванира не доверяла Баракену и ждала его ухода, чтобы поговорить по душам.

Служанка была уверена, что Элина вовсе не уезжала из замка. Каждое утро она посылала Ромена караулить перед решеткой парка, а сама расспрашивала поставщиков и торговцев, заглядывая то в лавку мясника с вывеской: «Умри здесь, дабы ожить там», то в бакалейную лавочку с табличкой на стене: «Возлюбите то, что превыше всего». Никто из них не видел хорошенькой барышни, но все отлично понимали, о ком идет речь. Просить же кого-либо из них отнести записку или передать поручение было столь же бесполезно, как задавать вопросы, каковы их политические убеждения или за кого они будут голосовать на ближайших выборах. Они отвечали полупапеками, подмигивали, хитро усмехались или делали вид, что не понимают.

Как-то вечером к шлюзовщику зашла матушка Дамур. Хмурое лицо крестьянки, ее глубокий траур, тупая, безнадежная покорность, с какой она говорила о своем несчастье, привели г-жу Эпсен в ужас.

— Что бы вы ни делали, все будет попусту... — угрюмо твердила хозяйка «Голодухи», сложив руки на коленях. — У меня эти Отманы дочку отравили да мужа заперли в сумасшедший дом, и то я ничего не добилась... Я и судье прямо в глаза сказала, хоть он меня за такие слова чуть в тюрьму не упек: эти люди, мол, чересчур уж богаты, на них и управы не найти.

Как ни доказывал ей Ромен, что тут дело другое, что за г-жу Эпсен вступятся важные господа, министры, полиция, матушка Дамур уперлась:

— Ничего у вас не выйдет. Уж больно они богаты!..

После этого разговора ее больше не пускали в дом.

Впрочем, г-жа Эпсен быстро поправлялась; она вставала, гуляла по берегу и вскоре, в конце недели, уехала в Париж, стгорая от нетерпения начать хлопоты.

Сильванира не ошибалась. Элину действительно держали в заточении в Обители, под строгим надзором, чтобы оградить ее от посторонних влияний и земных привязанностей; сама г-жа Отман подготавливала ее к апостольской миссии. Девушку ни на минуту не оставляли одну, не давали ей передохнуть. После лекций по богословию Жан-Батиста Круза и бесед Жанны Отман следовали духовные гимны, благочестивые размышления, общие молитвы. Время от времени Элину отпускали погулять под руку с Анной де Бейль или Софией Шальмет, пламенные речи которой особенно ее волновали.

Чаще всего они гуляли под балконом, укрываясь от осенних дождей, которые заливали пожелтевшую, ржавую листву деревьев, уже начинавшую редеть. Черные силуэты *работниц* Обитатели, закутанных в длинные городские плащи, придавали особенно унылый вид печальному пейзажу осеннего леса. Самые отрадные часы Элина проводила в молитвенной зале, где из-за навеса над балконом всегда царил полумрак. Убаюканная монотонным пением, новообращенная погружалась в сладостное забытие, как бы в гипнотический сон, ее сознание мало-помалу затуманивалось, а голова слегка кружилась.

К общей молитве работницы готовились, стоя на коленях и оборотясь лицом к стене. Все эти женщины, оцепеневшие, погруженные в молитвенное созерцание, застывали в разных позах: то воздев руки, то горестно поникнув, то скорчившись, то распростершись на полу, словно бесформенная груда тряпья. Внезапно та из них, что чувствовала себя подготовленной, вдохновленной богом, подходила к столу и, выпрямившись, вся трепеща от волнения, начинала молиться громким голосом. В этих импровизированных молитвах было больше возгласов, стонов, призывов, чем слов. «Иисус Христос, Спаситель, сладчайший возлюбленный Иисус!.. Слава тебе, слава тебе!.. Спаси, помилуй, сжался надо мною!» Но все импровизации были проникнуты пылким, непосредственным чувством, которого недостает в заученных молитвах, и вдохновенные слова, преображаясь, словно во сне, сияли ослепительным светом.

В такие минуты Элина забывала свои страдания, острую боль от разлуки с близкими. Всем существом предаваясь богу, она растворялась в чувстве безграничной любви, возносившей ее над всеми земными привязанностями, голос ее менялся, становился сильнее, проникновеннее, в нем слышался трепет страсти. Пока она молилась, ее кроткое лицо с детскими чертами и тонкой кожей преображалось, дышало истомой, а слезы лились ручьями, смывая нежный румянец щек; слезы казались ей целительной влагой, омывавшей душу от скверны греха, святой водою крещения.

Другие *работницы*, эти истощенные неврозом крестьянки, впадали в такой же экстаз во время общей молитвы, но болезненная экзальтация отнюдь их не красила. Маленькая горбунья становилась просто ужасной, когда она с воплями и стонами взывала к Христу: глаза ее дико сверкали, уродливое тело корчилось в судорогах, большой рот искажался гримасой. Это была настоящая одержимая — ведь истерия встречается среди приверженцев самых разных религиозных культов, что подтверждают

исторические исследования о сектах «Ревивалей» и «Молитвенных лагерей» в Англии и Америке. В религиозных и проповеднических общинах «Ревивалей», отчасти похожих на французских «Ликующих» и швейцарских «Бодрствующих», подобные припадки совсем не редкость.

«В Бристолле, во время проповеди Весли, женщины падали ниц, сраженные, точно молнией небесной, словами пастора. Они лежали на земле вповалку, без чувств, без сознания, точно трупы».^[15]

А вот как описано посещение пресвитерианской церкви в Цинциннати.^[16]

«В этой беспорядочной массе распростертых на каменных плитах человеческих тел раздавались истерические вопли, икота, рыдания, глухие стоны, пронзительные бессвязные крики... Прехорошенькая девушка, стоявшая возле Нас на коленях в позе Магдалины Кановы,^[17] долго выкрикала что-то на методистском жаргоне, потом разразилась рыданиями и воплями: «Анафема! Анафема вероотступникам!.. Услышь, услышь меня, Христос!.. Когда мне было пятнадцать лет, матушка скончалась, и я стала отступницей. Дозволь мне соединиться с ней на небесах, Спаситель, ибо я изнемогаю от усталости. О Джон Митчел!^[18] О Джон Митчел!»

В Ирландии это называют болезнью Ревивалей. Все *работницы* Пор-Совера были поражены этим недугом, и особенно опасно — от природы болезненно впечатлительная Элина Эпсен, неврастения которой еще обострилась после смерти бабушки и из-за хитрых маневров Жанны Отман. Это была самая настоящая болезнь с бурными припадками и периодами просветления. Когда девушка возвращалась по вечерам в свою келью, сердце ее билось нормально, дочерние чувства снова пробуждались. Напрасно она внушала себе, что разлука с матерью необходима ради спасения ее души, что тяжкие испытания приближают ее к Христу, напрасно призывала на помощь евангельские тексты — воспоминания о мирных, счастливых днях, о родственной привязанности овладевали всем ее существом и мешали молиться.

Ужасные часы сомнений, без веры, без воодушевления, мучительные часы, знакомые всем верующим священникам, когда слова молитвы застывают на сухих, холодных губах, когда св. Тереза, склонившись перед распятием слоновой кости, ожидая молитвенного вдохновения, спокойно пересчитывает кровавые раны на теле Спасителя... В такие часы Элине являлся образ матери, которая с плачем простирала к ней руки:

«Вернись, вернись ко мне, мы будем счастливы вместе... Чем я провинилась перед тобой?..»

Болезненное воображение Элины разыгрывалось в ночной темноте, и, лежа в постели, она видела мать, звала ее, говорила с ней, горько рыдая, пока наконец, измученная душевной борьбой, не протягивала руку к стакану со снотворным, которое каждый вечер приготавливала ей Анна де Бейль, и не засыпала мертвым сном. Утром она вставала одурманенная, без мыслей, без воли, даже без слез. В такие дни она не покидала своей кельи, глядя с тоской сквозь узкое, запотевшее оконце, как гуляли под деревьями *работницы* Обители в своих длинных плащах, возбужденно размахивая руками или замирая в оцепенении, точно душевнобольные в убежище Сальпетриер. Под хмурым небом кружились сухие листья, на горизонте проносились облака, то сгущаясь, то рассеиваясь, моросил мелкий дождь. Девушка провожала глазами клубившееся облако, следя за его превращениями, за игрою света и тени, быть может, то самое, на которое смотрела ее мать из своего кресла у окна, так близко от нее. И порою, благодаря некоему таинственному магнетизму, благодаря способности обмениваться мыслями на расстоянии, свойственной людям, горячо любящим друг друга, Элина угадывала близость матери.

Однажды утром Жанна Отман застала ее в слезах.

— Это еще что?.. — резко спросила она.

— Моя мать больна. Она здесь, неподалеку...

— Кто вам сказал?

— Я это чувствую.

В тот же день действительно стало известно, что г-жа Эпсен лежит больная в домике на шлюзе. Председательница заподозрила, что проболтался кто-нибудь из слуг, фанатички вроде нее с недоверием относятся к тонким душевным чувствам... И тут она поняла, что, если только мать с дочерью увидятся хоть раз, ее влиянию придет конец.

— Надо ехать, Эпсен... Готовы ли вы?

— Я готова... — отвечала бедная Элина, пытаясь придать твердость своему голосу.

Ее вещи были приготовлены гораздо быстрее, чем приданое, которое так заботливо готовила ей мать, роясь в старых кружевах и перебирая воспоминания юности. Элина везла с собой лишь скромное приданое бедной гувернантки, в котором больше всего места занимали тяжелые пачки Библий и «Утренних часов», пахнувшие свежей типографской краской... Подали карету, и первой туда уселась Анна де Бейль, в то время как Элина Эпсен целовала на прощанье г-жу Отман, всех своих подруг, мадемуазель Аммер и Жан-Батиста Круза — свою истинную семью, единственную семью, какою разрешается иметь работнице Пор-Совера.

— Теперь иди, дитя мое, и возделывай мой виноградник.

Карета, огибая ограду парка, медленно поднималась по узкой, крутой улочке. Маленькая девочка, спускавшаяся навстречу с корзинкой в руках, посторонилась и, заглянув в карету, громко крикнула: «Мама!..» Из экипажа ей ответил тихий, жалобный крик, перешедший в стон. В ту же минуту кучер стегнул лошадей, и карета быстро умчалась вперед. Фанни, не выпуская из рук корзинки, бросилась вслед за каретой, продолжая кричать: «Мама! Мама!..» Но тяжелое деревенское платье стесняло ее движения, деревянные башмаки сваливались с тоненьких ножек, девочка сделала над собой последнее, отчаянное усилие, рванулась — и упала ничком на дорогу. Когда она поднялась, разбитая, в синяках, с грязными руками и волосами, но без единой слезинки, карета уже поднялась на гору. Фанни с минуту смотрела ей вслед, задумчиво и серьезно, нахмутив лобик, будто стараясь что-то понять, и вдруг, точно разгадав какую-то страшную тайну, в ужасе бросилась бежать домой, к шлюзам.

XIII. СЛИШКОМ БОГАТЫ

Вестибюль особняка Герспах на улице Мурильо. Лакеи в полном составе, в ливреях и перчатках, расположились вдоль стен. Швейцар, важный и надменный, стоит у своего столика и отвечает уже в двадцатый раз:

— Баронесса не принимает.

— Но ведь сегодня ее приемный день.

Да, день приемный, но она внезапно заболела... При этом слове по тщательно выбритым лицам лакеев пробегает лукавая усмешка. Накожная болезнь баронессы, повторявшаяся из года в год, служила поводом для бесконечных пересудов прислуги.

— Меня она примет... Доложите: графиня д'Арло... Я на минутку...

Последовали приглушенные звонки, тихая, чинная суетня, и, к удивлению челяди, почти тотчас же пришло распоряжение проводить гостью, хотя она и не принадлежала к числу ближайших друзей. В гостиной второго этажа графине д'Арло пришлось немного подождать. В камине горело высокое, ласковое пламя, а в большом зеркальном окне, словно в раме, виднелся парк Монсо с его английскими лужайками, гротами и маленьким храмом, на фоне холодного, черного неба и голых деревьев. Грусть этого зимнего парижского пейзажа придавала еще большее очарование изысканной обстановке гостиной, блеску полировки, меди, фарфора, множеству безделушек, тканям, пестрым, как палитра художника, низеньким ширмам у подоконников, креслам, которые были расставлены возле камина и как бы приглашали к понятной беседе.

Разглядывая гостиную модной парижанки, Леони вспомнила время, когда и у нее бывали приемы, когда и она принимала гостей в роскошном доме, до тех пор, пока безразличие, унылое «к чему?» не подорвало ее жизни; муж постоянно в клубе или в Палате, она целыми днями в церкви, и никаких приемов, никаких гостей. Нужен был какой-то исключительный повод, чтобы она приехала к Деборе — своей подруге по пансиону, которой она долгое время отдавала предпочтение перед другими, хотя они и жили в различной среде, но, отрешившись от всего, она перестала видеться и с Деборой.

— Пожалуйте, ваше сиятельство...

Ее ввели в спальню, выдержанную в светлых тонах, но шторы здесь были опущены, и поэтому в комнате царил сумрак.

— Сюда, сюда!.. — раздался тонкий, как у ребенка, плаксивый голосок; он доносился из угла, где на возвышении стояла огромная кровать с балдахинном. — Только тебя одну я и могу принять!

Постепенно свыкаясь с темнотой, графиня увидела злополучную Дебору; она лежала, ее рыжие волосы разметались, лицо, типичное для восточной еврейки, казалось особенно белым, прекрасные руки, выступавшие из кружевных рукавчиков, лоснились от густого слоя мази. На столике, покрытом генуэзским бархатом, точно в уборной актрисы, были разбросаны зеркальца с ручкой, кисточки, пуховки, коробочки с пудрой и притираниями.

— Видишь? То же, что и в пансионе... По меньшей мере целую неделю не смогу никуда поехать, ни повидаться с кем-нибудь, опять на коже вся эта гадость... Началось внезапно, сегодня утром, как раз в мой приемный день... А завтра мне предстояло участвовать в благотворительном базаре в посольстве, его устраивают в пользу пострадавших от наводнения где-то там... не помню где... И платье я уже получила от Веру... Ну что за несчастье!

Слезы размывали слой мази и обнажали кроваво — красные полосы и болячки, по существу не опасные, но оскорбительные для самолюбия модной светской красавицы. Чего только не перепробовала она, чтобы от них избавиться! Минеральные воды Луэша и Пуга, грязи Сент-Амана... «Да, просидеть пять часов в черном горячем болоте, в грязи по самую шею, чувствовать, как там струится вода, как что-то ползает по тебе, словно какие — то насекомые... И ничто не помогает... Это в крови, наследственное... Это золото Отманов, как говорила мерзавка Клара...»

Леони вновь узнавала Дебору, какую та была в пансионе г-жи Бурлон, — добродушную высокую девушку с копной медно-красных волос на крошечной головке, напоминавшей бубенчик на шутовском колпаке. И теперь она все так же красива, пуста и болтлива, как бывала тогда в лазарете.

— Но что это я, право... Плачу, сокрушаюсь, вместо того чтобы спросить, как ты-то живешь... Мы так давно не виделись... Вид у тебя расстроенный... Счастливее ли ты теперь хоть немного?

— Нет... — просто ответила г-жа д Арло.

— Все те же огорчения?

— Все те же.

— Да, вполне тебя понимаю, дорогая... Если б нечто подобное случилось у меня... я не говорю — с бароном... ну, словом, с кем-то, кого я любила бы... Боже мой! — Держа перед собою зеркальце, она заячьей

лапкой осторожно стирала со щеки следы слез. — К счастью, у тебя есть утешение — религия...

— Да, религия... — ответила графиня все тем же печальным голосом.

— Полина де Лостад говорила на днях, будто свекровь дает тебе двести тысяч франков на устройство дома для сирот. Это правда?..

— Свекровь ко мне очень добра...

Она не сказала, что та поистине королевская щедрость, с помощью которой старая маркиза надеется загладить неблагоприятное поведение сына, только растрavляет рану вместо того, чтобы ее залечить.

— Бедняжка де Лостад!.. Ей тоже не дается счастье... — продолжала Дебора, которая в минуты отчаяния любила перебирать чужие невзгоды. — У нее умер муж, слышала? На маневрах упал с лошади... Она никак не может с этим примириться... Но у нее есть возможность забыться, она прибегает к уколам... Да, она стала... как это говорится?.. морфинисткой... У них целый кружок таких... Когда эти дамы собираются, каждая приносит с собой серебряный футлярчик с иглой и снадобье... И вот — пух-пуф!.., в руку, в ногу... Это не усыпляет, а только создает приятное самочувствие... К несчастью, с каждым разом действие ослабевает и приходится увеличивать дозу.

— Так же и у меня с молитвами... — прошептала Леони и вдруг продолжала душераздирающим тоном: — Ах, нет, ничто не может заменить любви!.. Если бы только мой муж...

Она запнулась, не менее, чем ее подруга, пораженная своим отчаянным, интимным признанием, и на мгновение закрыла лицо руками.

— Дорогая моя!.. — воскликнула Дебора и хотела было протянуть подруге руку, но сразу остановилась, вспомнив, что рука у нее до самого плеча покрыта мазью. Вернувшись к собственным горестям, она добавила: — Да, жизнь — вещь невеселая... Кругом одни только несчастья... Ты слышала, что случилось с бедной старухой Эпсен?..

При этом имени Леони порывистым движением утерла слезы.

— Вот именно насчет нее я и приехала... — Она начала волноваться. — Что же это такое? Даже не сказать ей, где находится ее дочь! Жанна Отман — просто какое — то чудовище!

— Такой она была и в пансионе. Помнишь, какая она была красивая, всегда сдержанная, всегда с маленькой Библией в кармашке фартука, где мы держали часы?.. Она и мне одно время вскружила голову. Я уже готова была вместе с ней отправиться в Африку... Нет, ты только представь себе меня миссионеркой среди чернокожих!..

Действительно, трудно было себе это вообразить, особенно сейчас,

когда она вся была покрыта мазью и заботливо водила кисточкой по своей восхитительной шее.

— А что говорит твой кузен Отман?.. Как он допускает такую жестокость?.. Сердце разрывается от жалости, когда слушаешь рассказ несчастной матери... Ты не слышала?.. Некоторые подробности просто невероятны!.. Знаешь, она сейчас тут, внизу, в моей карете... Она не решилась войти, — она думала, что у тебя гости, но если хочешь...

— Нет, нет, прошу тебя!.. — в ужасе воскликнула Дебора. — Барон решительно запретил мне вмешиваться в эту историю...

— Барон запретил?.. Почему?.. А я-то как раз рассчитывала на тебя, на твой салон, на Шемино, который постоянно у вас бывает.

— Нет, милочка, умоляю тебя!.. Ты не понимаешь, что значит в банковском деле восстановить против себя Отмана... Он может раздавить предприятие, как букашку... Но сама-то ты, твой муж... Ведь он теперь депутат... Депутат оппозиции может добиться чего угодно.

— Я не могу ни о чем просить мужа... — возразила графиня, вставая.

Дебора удерживала ее только для виду, ибо, как слабое существо, опасалась споров, в которых неизбежно терпела поражение, а главное, она боялась, как бы г-жу Эпсен не увидели около ее дома, у нее на дворе.

— Мне очень жаль, уверяю тебя... Я рада бы сделать что-нибудь для тебя, для этой несчастной женщины... Приезжай ко мне, хорошо?.. Прощай, милочка!.. Какая досада, что нельзя тебя поцеловать!

Она откинулась на подушки и, вновь охваченная отчаянием, замерла на пышном одре болезни; ее белоснежная грудь, безжизненные руки выступали из атласа и кружев, и она лежала неподвижно, без слез, с невысказанной скорбью, точно большая кукла, подаренная девочке на Новый год.

Спускаясь по лестнице, устланной светлым ковром с плюшевой каймой, Леони думала: «Уж если такие боятся, то что же ответят другие?» Дело теперь представлялось ей гораздо более сложным, чем прежде. У подъезда, пока подавали карету, на ум ей пришло еще одно имя... Да, это идея! Там по крайней мере всегда получишь полезный совет... Она сказала кучеру адрес и села в экипаж рядом с г-жой Эпсен, которая поджидала ее с нетерпением, словно надеясь, что она вернется вместе с Элиной.

— Ну как?..

— Да что же, Дебора как была беспечной толстухой, так и осталась... К тому же она больна, и ее пришлось бы долго ждать... Поедемте к Раверану.

— К Рафрану?

Датчанка никогда не слыхала имени этого ученейшего, умнейшего парижского юриста, которого дважды избирали старшиной адвокатов.

— Адвокат? и Значит, придется судиться?..

Глаза ее расширились от ужаса. Это будет так долго, потребует столько денег! Леони успокаивала ее:

— А может быть, обойдется не так уж дорого... Посмотрим... Он наш друг.

Этому давнишнему другу ее отца она была обязана тем, что не разошлась с графом и что в этом крушении их счастья все же удалось спасти фамильную честь.

Улица Сен-Гийом. Старинный дом в Сен-Жерменском предместье, пощаженный реконструкцией, еще хранит — традиции старой Франции, о чем свидетельствует арка над дверью с карнизом и широкая каменная балюстрада. Раверан только что возвратился из суда, однако принял графиню немедленно; ее проводили, минуя приемную, где, словно у модного врача, дожидались многочисленные, нетерпеливые клиенты.

— Что случилось, друг мой?.. Надеюсь, ничего дурного?..

— Нет... Во всяком случае, не со мной... Но с человеком, которого я очень люблю...

Она представила ему г-жу Эпсен, и адвокат молча обратил на нее пытливый, острый взгляд своих черных глаз. Несчастливая мать была крайне взволнована. Огромный кабинет, тишина, внушительный и пронизательный юрист, освещенный настольной лампой... Какой ужас!.. Столько хлопот из-за простого, правого дела — добиться возвращения похищенной дочери!

— Расскажите, в чем дело... — сказал Раверан.

Г-жа Эпсен еще плохо слышала после кровоизлияния, и ему пришлось повторить погромче:

— В чем дело?..

Она начала рассказывать, но гнев и негодование душили ее. Слова всех языков, которые она знала, и прежде всего датские и немецкие, наиболее близкие ее сердцу, вырывались у нее наперебой, тесня друг друга. А усилия, которых требовал от нее французский, и северные «ф», беспрестанно свистевшие в ее речи, придавали еще большую непоследовательность невероятной истории, за которую она, запинаясь, принималась со всех сторон... Ее маленькая Лина такая *слафная тсфушка*... ф... ф... У нее только и была одна радость — дочь... Бабушка, электрические часы, председательница, молитвы по три су, снадобья, которыми поили *тсфушку*.... ф... ф... Понимаете?

— Не совсем... — проронил адвокат.

Леони хотела что-то сказать, но он остановил ее:

— Так как же, сударыня? Ваша дочь от вас уехала?

— Нет, нет... Не уехала... Ее увезли, похитили... Душу ее украли, всю украли.

— Как же это случилось?.. Когда?..

Он вытягивал у нее подробности одну за другой, просил рассказать о том ужасном письме, которое слово в слово запечатлелось в материнской памяти, точно вытравленное кислотой на медной табличке: «Искренне преданная дочь Элина Эпсен...»

— А после того как она уехала, вы получали письма?

— Два раза... Один раз из Лондона, потом из Цюриха... Но ее уже нет ни тут, ни там...

— Покажите мне письмо из Цюриха...

Г-жа Эпсен вынула из кармана наперсток, очки, портрет дочери, с которым она не расставалась, наконец письмо, развернула листок дрожащими толстыми пальцами и подала адвокату. Тот вслух, медленно прочел его, стараясь уловить затаенную мысль девушки. Несчастливая женщина начинала интересоваться его.

«Дорогая мама! Мне очень хочется подать тебе весточку, поэтому пишу тебе, не откладывая. Но мне стало горько, когда я узнала, что ты прибегаешь ко всяким ухищрениям и ко лжи...»

Г-жа Эпсен заплакала.

«...что ты несправедливо винишь людей, которые не сделали нам ничего, кроме добра. Этим ты ставишь меня в такое положение, что я не могу тебе сообщить, куда именно привело меня служение господу, и выразить тебе чувства дочери, любящей тебя во Христе. Элина Эпсен».

Помолчав, Раверан задумчиво сказал:

— Психоз на религиозной почве... Это по части доктора Бушро...

Психоз, Бушро — эти слова не имеют для матери никакого смысла, но она твердо знает, что, если бы ее дорогую дочку не опоили какими-то снадобьями, она никогда не написала бы ей такого письма. Заметив на лице адвоката недоверчивую улыбку, она опять пошарила в карманах и вынула оттуда бумажку, исписанную химическими формулами и названиями алкалоидов — иоксианин, атропин, стрихнин; на листке стояла печать одной из лучших парижских аптек. После отъезда Элины она обнаружила в одном из ящичков ее комода коробочку с пилюлями и пузырек с экстрактом беладонны и чилибухи — дурманящими, наркотическими средствами, небольшой дозы которых достаточно, чтобы помутить сознание, а то и

вовсе лишит человека разума.

— Черт возьми!.. — воскликнул Раверан. — И такие дела творятся в 1880 году!.. Любопытно!.. Сколько лет вашей дочери? — спросил он и приподнялся на кресле; вытянув голову, он словно принохивался к делу, — так хорек высовывает из норы свою плоскую мордочку.

— Сейчас ей двадцать... — ответила мать, и ее удрученный голос прозвучал еще трагичнее от контраста с этими великолепными словами, с этим праздником жизни: двадцать лет!

Старый адвокат подумал вслух:

— Интересное, сенсационное дело...

Леони д'Арло торжествовала:

— И эта женщина совершает уже не первое такое преступление... Мы можем указать и на другие ее жертвы, на матерей, еще более несчастных, чем госпожа Эпсен...

— Кто она такая?.. Как фамилия этой дамы?.. — спросил Раверан; его все больше и больше охватывало негодование.

Г-жа Эпсен широко открыла глаза, удивляясь его недогадливости.

— Да это же госпожа Отман!.. — ответила Леони.

Раверан безнадежно развел руками.

— Гм... В таком случае...

Как опытный адвокат, бывший старшина, он ограничился этими словами, но мысль его заключалась в том, что здесь ничего сделать нельзя. Наоборот, несчастную женщину надо отговорить от возбуждения дела — это и опасно и бесполезно. Отманы слишком могущественны, они совершенно недосыгаемы в силу своей репутации, морального облика, богатства... Надо проявить ловкость, выждать... Кроме того, если начать процесс, то за это время Элина станет совершеннолетней, и тогда, естественно...

— Значит, нет на свете правосудия! — безнадежным тоном проговорила г-жа Эпсен, как та крестьянка из Пти-Пора, горе которой припомнилось ей в этот миг.

Тут Раверану подали чью-то визитную карточку, и он поднялся.

— Министр юстиции мог бы дать распоряжение о негласном расследовании, тогда, вероятно, удалось бы узнать, где находится ваша дочь... Но как убедить министра в необходимости столь щекотливых мероприятий?.. Впрочем... Вы ведь иностранка, датчанка?.. Поговорите с вашим консулом.

Провожая их, он шепотом сказал графине:

— А в общем, дочь ее не такая уж несчастная.

— Не дочь несчастная, а мать.
— Да, она мать... Все матери мученицы... — И уже другим тоном спросил: — А как у вас?.. Как здоровье вашего мужа?..
— Не знаю...
— Вы все так же неумолимы?
— Да...
— А между тем он остепенился... Стал политическим деятелем... Его последнее выступление в Палате...
— До свидания, мой друг!..
В карете г-жа Эпсен проронила:
— Я озябла...
У нее стучали зубы.
— Вы отвезете меня домой?..
— Нет, нет... Сначала заедем к консулу... Где он живет?
— Предместье Пуассоньер... Господин Деснос.

Деснос, владелец крупной мебельной фабрики, покупавший дерево в Норвегии и Дании, исхлопотал себе должность консула в интересах своего дела. Что касается страны, которую он представлял, ее нравов, языка и даже ее географического положения, то обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Приемная консула помещалась во дворе справа, а слева тянулись огромные мастерские, оглашавшие окрестность грохотом молотов, скрипом пил, жужжанием станков, и всему этому вторил вибрирующий бас паровой машины. В конторе тоже кипела работа: скрипели перья, переключались с места на место увесистые торговые книги, на склоненных лбах конторщиков блестели отсветы газовых рожков.

Как и у адвоката, имя графини д'Арло оказало должное действие, и просительницам пришлось ждать недолго. Деснос принял их в богато обставленном, просторном кабинете; в стеклянную дверь виден был художественный цех, где молча работало, сидя и стоя, несколько человек в блузах.

— Наверху освещено? — спросил фабрикант, вообразив, что дамы собираются заказать обстановку. Когда же он узнал, что нужен им лишь в качестве консула, улыбка на его лице застыла, он превратился в важного чиновника. — По консульским делам прием от двух до четырех... Но раз уж вы, сударыня, пожаловали...

Скрестив руки на отлично сшитом, просторном сюртуке, какой и должен быть у почтенного коммерсанта, он стал слушать посетительниц под далекий грохот паровой машины, сотрясавшей окна и полы.

Боже мой, что это ему рассказывают? Яд, похищение... Да с этим

лучше бы обратиться в театр! В Париже, где у людей свои телефоны, где на заводах горят лампочки Эдисона, — и вдруг такие приключения? Дамы вели рассказ попеременно-г-жа Эпсен до того волновалась, что графине пришлось прийти ей на помощь. Деснос не выдержал и вдруг вскочил в негодовании. Он не желает больше слушать такие небылицы. Отман — его банкир... Это самый крупный, самый надежный банк; репутация его безупречна... Нельзя себе представить, чтобы у Отманов творились такие гнусности.

— Поверьте мне, сударыня... — Он все время обращался к графине, словно другая посетительница недостойна была внимания такого важного лица, как он. — Не повторяйте этой клеветы. Репутация Отмана — это честь всего парижского коммерческого мира.

Он поклонился. Для деловых людей время дорого, особенно к концу дня и концу недели. Впрочем, он всегда к услугам графини. По консульским делам — от двух до четырех. Обращаться к господину Дарлюпу, секретарю.

Графиня и г-жа Эпсен пробирались к своей карете под оглушительный грохот мастерских. На дворе ломовики и ручные тележки грузно катили по мостовой, сотрясавшейся, как трамплин. Г-жа Эпсен, невзирая на шум, говорила, сильно жестикулируя:

— Значит, никто мне не поможет, раз все боятся...

Рабочие, разгружавшие лес, толкнули ее. Бросившись от них в сторону, она наткнулась на колеса ломовика; полуглухая, рыхлая, неуклюжая, растерявшаяся, она вскрикивала, как ребенок, пока, наконец, Леони не взяла ее под руку. Графиня додумала: «Что же станется с этим несчастным созданием, если ему никто не поможет?» Нет, она не оставит ее! Нет, надо добиться расследования, о котором говорил Раверан. Граф д'Арло завтра же переговорит с министром...

— Какая вы добрая, друг мой! — В сумраке кареты горячие слезы несчастной матери оросили перчатки графини.

Обращение к мужу — это была для Леони д'Арло огромная жертва, ибо человек этот, хоть и живший с ней под одной крышей, стал ей совершенно чужим и ничего не знал об ее переживаниях. Возвращаясь с улицы Вальде-Грас, она размышляла об этом, и перед ней постепенно оживали тягостные подробности нанесенной ей обиды, все такой же острой, словно это случилось вчера: ей представлялась племянница, только что вышедшая замуж, совсем юная, розовая, в нарядном платье; ей вновь слышался ее девичий смех, секреты, которыми новобрачная шепотом делилась с ней, словно со старшей сестрой, потом слова: «Пойду

поздороваясь с дядей...» Леони вспомнила, как, удивляясь долгому отсутствию племянницы и вдруг почувствовав какой-то толчок в сердце, она застала их в прелюбодеянии, отвратительном и подлом, ей вспомнились их несвязный лепет, бледные лица в испарине, неловкие, дрожащие руки.

Как протекала после этого жизнь ее мужа? Предпринимал ли он что-нибудь, чтобы заслужить прощение? Он проводил время либо в клубе, либо у продажных женщин. Только последние полгода он погрузился в политику: ему надоела любовница, бывшая актриса, у которой на авеню Оперы был магазин безделушек с комнаткой, предназначенной для любви, и теперь он увлечен политикой — тоже своего рода магазином безделушек, прикрывающим грязь и подлость. И вот его снова потянуло к домашнему очагу, он стал ему необходим, чтобы собирать вокруг себя друзей, чтобы пользоваться их влиянием; он не решался просить, но ему очень хотелось, чтобы жена опять начала устраивать приемы, выезжать в свет и чтобы прошлое было предано забвению... Нет, нет, только не это! Ни за что! Они разобщены до самой смерти!..

Мысленно дав эту гневную клятву, она подумала о самой себе, о своем одиночестве, об унылой пустоте своего существования, которую уже не могли заполнить ни богослужения, ни знаменитые проповедники, ни долгие часы молитвы в церкви св. Клотильды. У нее есть ребенок, и он предохраняет ее от греха, но достаточно ли в жизни только избегать дурного?.. «Да, Раверан прав... Я неумолима...»

Однако за последние несколько часов она стала не столь неумолима, словно слезы несчастной матери своим живым теплом смягчили, умиротворили ее. Во всяком случае, драма, разыгравшаяся у Эпсенов, взволновала ее, вывела из того состояния мистического оцепенения, когда смерть казалась ей единственной целью и единственным средством избавления.

— Его сиятельство в гостиной, с барышней...

Впервые за долгое время в гостиной горел свет, а за открытым роялем, на высоком стуле, сидела девочка и под наблюдением старой гувернантки с бараньим профилем играла какой-то этюд. Граф, отбивая такт, смотрел, как пальчики дочери бегут по клавишам; большая лампа под абажуром мягко освещала эту семейную сцену.

— Немного музыки перед обедом... — сказал граф, кланяясь жене с полуулыбкой; его короткая белокурая, чуть седеющая борода раздалась при этом, а крупный нос сморщился — типичный нос прожигателя жизни, нос, которому парламентская трибуна со временем придаст черты

благожелательства и величия.

Смущенная этим подобием семейного благополучия, графиня извинилась за опоздание, стала было что-то объяснять, потом вдруг сказала:

— У меня к вам просьба, Анри.

Анри!.. Уже несколько лет он не слышал этого имени; на авеню Оперы его сиятельство звали Козленком. Гувернантка увела девочку. Снимая перчатки и шляпу, которые приняла горничная, Леони стала рассказывать о своих хлопотах по делу г-жи Эпсен, о страхе, который наводит на всех одно имя Отманов, о совете Раверана обратиться к министру юстиции. Она стояла перед камином, статная, пленительная, еще взволнованная недавними переговорами; пламя, к которому она поочередно подносила свои тонкие, стройные ноги, бросало на нее розовые блики... То, о чем она просит — поговорить с министром, — в данное время представляется делом чрезвычайно трудным. Оппозиция ведет атаку против правительства, и не на шутку. Новые декреты, законопроект о чиновниках... Она сделала к мужу шаг, взглянула на него золотисто-зелеными глазами.

— Я очень прошу вас...

- Для вас, дорогая, я сделаю все, что в моих силах.

Он хотел было обнять ее, прижать к сердцу, но в эту минуту дверь распахнулась и бесстрастный голос возвестил, что кушать подано. Анри д'Арло предложил жене руку. Когда они входили в столовую, где их дочка уже сидела на своем месте и с недоумением наблюдала за ними, графу показалось, что мягкая, нежная рука жены опирается на его руку и слегка дрожит.

Это был единственный результат хлопот г-жи Эпсен.

XIV. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

— Гордыня, одна только гордыня и осталась у этой женщины... Ни сердца, ни души... Англиканская чума все разъела... До чего же она жестока и холодна!.. Как этот вот мрамор...

Престарелый декан, сидевший у камина, так резко ударил щипцами по цоколю, что Голубка поспешила, ни слова не говоря, отнять у него щипцы. Он был настолько взволнован, что даже не заметил этого, и продолжал рассказывать о посещении особняка Отманов:

— Я ее уговаривал, просил, угрожал ей... В ответ я услышал лишь готовые фразы из проповеди — о пламени веры, о пользе великих примеров... Говорит она, подлая, превосходно... Пожалуй, злоупотребляет цитатами из Библии... Но говорит красноречиво, убежденно.. Что же удивляться, что она вскружила эту слабую головку?.. Посмотри, во что она превратила Круза... Но, будь уверена, я высказал ей все, что о ней думаю!..

Он поднялся и стремительно зашагал по комнате.

— В конце концов, кто вы такая, сударыня?.. От чьего имени вы выступаете?.. От имени бога?.. Нет, не бог руководит вами... В ваших поступках я вижу только вас самих, вашу холодную, черствую душу, душу, которая озлобилась и, по-видимому, занята только одним: за что-то мстить.

А муж присутствовал при вашем разговоре?.. — со страхом спросила старушка. — Он ничего не говорил?..

— Ни слова... Только криво улыбался и по обыкновению бросал пронзительные взгляды, — они жгут, как солнечный луч сквозь увеличительное стекло...

— Да ты сядь!.. Посмотри, в каком ты состоянии!..

Стоя позади кресла, в которое наконец опустился ее праведник, г-жа Оссандон утирала испарину с его высокого, умного лба — лба мыслителя — и развязывала шейный платок, который он позабыл снять.

— Ты уж чересчур волнуешься...

— А как же иначе?.. Такое несчастье, такая несправедливость... Мне очень жаль бедного Лори.

— Ну, его-то нечего жалеть... — ответила она, с досадой махнув рукой при имени человека, которого еще недавно предпочли ее сыну.

— А мать?.. Несчастливая не может даже узнать, где ее дочь... Представь себя на моем месте, перед лицом этой женщины, упорство которой поощряется подлостью окружающих... Как бы ты поступила?

— Я? Да я бы ей голову отгрызла!..

Тут старушка так страшно выпятила челюсть, что декан расхохотался. Но в гневе жены он почувствовал одобрение.

— Я им еще покажу!.. Никакая сила не заставит меня замолчать, я не оставлю этого дела, я обращусь к общественной совести... Пусть я лишу места...

Злополучное слово! Оно сразу же напомнило его супруге о том, насколько все это серьезно... Нет, погоди! Раз вопрос касается места...

— Пожалуйста, не впутывайся... Слышишь, что я тебе говорю, Альбер?

— Голубка!.. Голубка!.. — взмолился бедняга Альбер.

Голубка ничего не хотела слушать. Будь они одни, тогда еще можно было бы пойти на риск. Но у них сыновья, Луи вот-вот должны назначить помощником столоначальника, Фредерик еще только поступает на службу, майору обещан орден... А этим богачам при их влиянии достаточно подать знак...

— А мой долг?.. — прошептал декан, уже начавший сдаваться.

— Долг свой ты уже и так исполнил, и даже слишком... Ты думаешь, Отманы простят тебе сегодняшние резкости?.. Послушай...

Она взяла его за руки и стала уговаривать. Неужели ему приятно будет, в его возрасте, снова разъезжать по свадьбам, по похоронам?.. Он сам всегда говорит: «Теперь я на самой вершине... на самой вершине...» Так пусть же он вспомнит, как трудно ему было на нее взбираться. А на восьмом десятке опять скатиться вниз — страшно даже подумать об этом.

— Голубка!..

Он делал последнюю попытку сопротивления, подсказанную ему чувством чести, ибо доводы жены лишней раз подтверждали то, что еще сегодня говорили ему коллеги по факультету, прогуливаясь с ним по лужайке, куда менее унылой и холодной, нежели неумолимый людской эгоизм. Да, мысль о том, что надо старыми ногами вновь взбираться на вершину, приводила его в ужас, в особенности — предвидение тех страшных сцен, тех бурь, которых не миновать в семье, если он решится на поступок, задуманный им после посещения Отманов. Но как признаться в своем поражении несчастной матери? Она обратилась к нему так доверчиво, он — ее единственная надежда, иной опоры у нее нет. И вот он, как и все, уклоняется от помощи, он вынужден отвернуться от этого великого горя или успокаивать ее расплывчатыми, лживыми обещаниями: «Подождите... Это всего лишь кризис... Господь не попустит...» Ах! Он превращается в пастыря лицемеров и трусов.

С этого дня старик Оссандон не знал покоя и уже не радовался, что достиг самой вершины. Совесть, зловещий соглядатай, садилась вместе с ним за стол, преследовала его по пятам, сопровождала его, когда он шел по грязному предместью Сен-Жак, поджидала его на бульваре Араго, куда он выходил после лекции. Он не решался даже работать в своем садике, хотя пришла пора посадок, потому что здесь угрызения совести особенно его терзали: за окном виднелось бледное лицо и заплаканные глаза матери, которая не теряла надежды, что ей поможет религия — религия, отнявшая у нее все, чем она жила.

Она давно уже стала замечать, что и декан ее сторонится, и даже не удивлялась этому» все ее друзья поступали так же. Одни покидали ее из страха, другие — от стыда, что ничем не в силах помочь и могут только сочувствовать ее горю. Находились и скептики, которым это приключение в духе Анны Редклиф^[19] казалось неправдоподобным в современном Париже; такие люди покашляли головой чуть ли не подозрительно: «Почем мы знаем, что кроется за всем этим?»

Конечно, Париж — город просвещенный, его воодушевляют прогресс и благородные идеи, но он легкомыслен и до крайности поверхностен. События набегают на него на стремительных и частых волнах, словно волны Средиземного моря, и каждая новая волна сметает обломки, вынесенные предыдущей. Тут нет ничего глубокого, ничего длительного. «Бедная госпожа Эпсен!.. Как это ужасно!..» Но пожар в магазине «Вселенная», женщина, разрезанная на куски, аккуратно завернутые в газету «Тан», самоубийство двух девочек Касарес — все это своей новизной быстро приковывало к себе внимание и отвлекало от вчерашней сенсации. Единственный дом, где несчастную мать принимали с неиссякаемой благожелательностью, смешанной с чувством благодарности, а именно — особняк на улице Везлей, и тот вдруг закрылся: получив конфиденциальный доклад о результатах следствия, которое велось в Корбее прокуратурой, граф д'Арло с супругой и дочкой уехал в Ниццу.

Доклад этот, составленный еще более ловко и изворотливо, чем доклад о деле Дамур, заключал в себе подробное описание замка, школ, Обители. К нему был приложен список *работниц*, или, по выражению отрока Николая, «монашек», которые в настоящее время жили в Пор-Совере:

София Шальмет, 36 лет, уроженка Ла-Рошел.

Мария Сушот, 20 лет, из Пти-Пора.

Бастьенна Желино, 18 лет, из Атис-Мона.

Луиза Брон, 27 лет, из Берна.

Катрин Лоот, 32 лет, из Соединенных Штатов.

Что касается Элины Эпсен, то она разъезжает по делам общины по Швейцарии, Германии, Англии и не имеет Постоянного местожительства, однако поддерживает регулярную переписку с матерью.

Действительно, в последнее время благодаря пастору Бирку г-жа Эпсен получила возможность писать дочери, но она не знала, куда направляются ее письма, потому что адрес надписывался в Пор-Совере. Сначала она писала гневные, отчаянные письма, полные душераздирающих призывов, упреков и даже угроз по адресу Отманов, но вскоре тон их изменился, ибо Элина отказывалась отвечать на оскорбления, которые наносились ее друзьям, ею уважаемым и достойным уважения. И теперь жалобы матери стали смиренными, робкими и состояли главным образом из описания ее одинокой, безотрадной жизни, но это отнюдь не смягчало холодного тона девушки* столь же безличного, как и ее почерк, который теперь стал однообразным, удлинненным, точно английский шрифт, без штрихов и нажимов. В своих письмах она сообщала о здоровье, восторженно и туманно говорила о служении богу, и задушевность, дочерний поцелуй заменялись в них каким-нибудь мистическим призывом, пламенным обращением ко Христу.

Трудно себе представить что-либо более странное, чем этот эпистолярный диалог, этот контраст между проповеднической методистской фразеологией и живыми человеческими словами: тут вели разговор земля и небо, но они были слишком разобщены и не понимали друг друга, все чувствительные струны были порваны и дрожали в пустоте.

Мать писала: «Бесценное дитя мое! Где ты? Что делаешь? А я вот думаю о тебе и плачу... Вчера был день поминовения усопших; я ходила на кладбище и нарвала на могиле бабушки букетик, который и посылаю тебе...

Дитя отвечало: «Благодарю тебя за память, но мне радостнее слиться душою на веки вечные с живым Спасителем, чем обладать этими жалкими цветами. Я горячо желаю, дорогая мама, чтобы ты обрела у престола божия всепрощение, мир и утешение, которые Он по милосердию своему готов ниспослать тебе...»

И все же ледяные, бесстрастные письма дочери составляли единственную драгоценность, которая еще оставалась у матери. Мать утирала слезы лишь для того, чтобы прочитать эти строки, и в ожидании этих писем, в надежде, которая рождалась у нее, когда она дрожащей рукой распечатывала конверт, она черпала силы, чтобы жить, чтобы не поддаваться тому крайнему отчаянию, которого так опасался добрый г-н Бирк: он боялся, как бы его несчастная подопечная не подстерегла карету г-

жи Отман у подъезда, не уцепилась бы за нее, не стала бы кричать: «Где моя дочь?.. Где моя дочь?», — или не отправилась в Лондон, Базель, Цюрих, чтобы самой заняться расследованием дела, как ей посоветовали в конторе розысков.

— Бедная моя, бедный друг мой!.. Вы не представляете себе, к чему это приведет... — убеждал он.

Эти поездки, предпринятые вслепую, принесут полное разорение. Еще опаснее какая-нибудь резкая выходка в Париже — плодом ее будет только тюрьма или еще того хуже. Бирк не говорил, что именно, но загадочный взгляд его больших глаз и его встопорщенная апостольская борода выражали ужас, который сразу же передавался и несчастной матери. Тут Бирк брал ее руку в свои, тяжелые, влажные, пахнувшие помадой, которой были смазаны его холеные кудри, и начинал успокаивать, уговаривать ее:

— Предоставьте действовать мне... Я тут, я остаюсь здесь только ради вас... Доверьтесь мне... Вашу дочь вам вернут...

Как легко ошибиться в людях! Человек, который так ей не нравился, которого она опасалась, настороженная слащавыми улыбками, хитрыми повадками этого охотника за приданым, — только он один ее не покидал, навещал ее, всегда интересовался ее жизнью и хлопотами. Он даже приглашал г-жу Эпсен в свою холостяцкую квартиру, нарядную, чистенькую, украшенную подношениями почитательниц и угощал ее национальным блюдом *Risengroed*. И каждый раз, провожая ее, он советовал:

— Вам надо развлекаться, друг мой...

Но как развлекаться, когда находишься во власти неотступного отчаяния, навязчивой мысли, которую обостряет любой пустяк? Элина, уехав, не взяла с собой ни одежды, ни белья, и все эти вещи постоянно напоминали о ней. Легкий запах ее любимых духов, исходивший от шкафа, от неплотно закрытой шифоньерки, любой предмет туалета возрождал в материнском воображении образ дочери. На столе все еще лежала длинная зеленая тетрадка, куда девушка каждый вечер заносила расходы и отмечала, сколько ей причитается за уроки. Эта чистенькая, аккуратная тетрадка, испещренная ровными цифрами, говорила о ее повседневных занятиях, о честной, мужественной жизни, посвященной труду, преисполненной забот о благополучии окружающих... «Пальто для Фани... Дано в долг Генриетте...» В день ангела г-жи Эпсен — в день св. Елизаветы — против статьи «Букет и сюрприз» на полях было выведено нежным, детским почерком: «Люблю мою бесценную мамочку».

Это была настоящая приходо-расходная книга, вроде тех, что

хранились некогда в семьях и которые, по выражению старика Монтеня, «так забавно просматривать, дабы отвлечься от кручины...» Но тут, наоборот, от чтения книжки кручина становилась только сильнее, и когда по вечерам г-жа Эпсен вместе с Лори перелистывала книжку, глаза обоих заволакивались слезами, и они не решались взглянуть друг на друга.

Бедный Лори словно вторично овдовел; он не носил траура по этой утрате, но она была, пожалуй, еще тяжелее первой, ибо к ней примешивалось чувство унижения от мысли, что он не сумел завоевать это девичье сердце, с виду столь безмятежное, а в действительности жаждавшее великой страсти, обретенной в более высокой сфере. Хотя Лори не признавался себе в этом, отъезд Элины принес некоторое успокоение ране, нанесенной его самолюбью: не он один оказался покинутым, и теперь у них с матерью, сближенных общим горем, восстановились прежние задушевные отношения. Придя из конторы, он поднимался к г-же Эпсен, чтобы узнать, нет ли новостей, проводил здесь у камина долгие часы, слушая все тот же рассказ, в котором все те же фразы сопровождалась все теми же взрывами рыданий, и среди незыблемости окружающих предметов, в тиши маленькой гостиной, лишь изредка нарушаемой криками с бульвара, он невольно искал Элину и ее бабушку в их излюбленном уголке, в том уголке, который так долго оживлялся звонким смехом его дочурки и где теперь сгущались мрак и забвенье — неизбежные спутники смерти и разлуки.

Днем г-жа Эпсен не могла оставаться дома одна. Покончив с несложными хозяйственными делами, она уходила к кому-нибудь из друзей, из своих прежних воскресных «декораций», которые по кротости своей соглашались вновь и вновь слушать рассказ о похищении девушки и об отваре чилибухи. Затем, под влиянием возбуждения, которое обычно сопутствует навязчивой идее, как будто тело берет на себя задачу восстановить равновесие в организме, она наугад бродила по улицам, в толпе тех бесчисленных парижских бездельников, что присоединяются к любому скопищу зевак, останавливаются у любой витрины, стоят, облокотившись о перила мостов, на все взирая одним и тем же безразличным взглядом — и на реку, и на опрокинувшийся омнибус, и на выставку последних новинок моды. И как знать, сколько изобретателей, поэтов, одержимых, преступников и безумцев насчитывается среди этих людей, которые бредут куда глаза глядят, спасаясь от угрызений совести или устремляясь за несбыточной мечтой! Слепленные какой-нибудь идеей, одинокие даже в огромной толпе, эти бродяги — самые занятые люди, и ничто не в силах вывести их из задумчивости-ни облако на небе, ни

случайно толкнувший их прохожий, ни книга, которую они листают, не читая.

Блуждая по Парижу, г-жа Эпсен постоянно возвращалась к одному и тому же месту — к особняку Отманов, куда она сначала попыталась было проникнуть в надежде выведать у слуг хоть какие-нибудь сведения. Чтобы преодолеть безразличие этих подлых душ, необходимы были щедрые чаевые, а на чаевые у нее не было денег. Теперь она приходила сюда, побуждаемая инстинктом, хотя и знала наверное, что ее дочери нет во Франции. Она часами прогуливалась вдоль забора, которым обнесен был пустырь против дома Отманов, заглядывала в глубь двора, смотрела на высокие черные стены, на окна разной величины, с лепными карнизами. У подъезда стояли экипажи. Входили и выходили люди с тяжелыми портфелями на стальных цепочках, с заплечными мешками, полными звонкой монеты. На просторном крыльце задерживались, беседуя, какие-то важные господа. Все делалось тут без суеты, без шума, слышалось только неумолчное, легкое позвякивание монет, похожее на серебристое, приглушенное журчание невидимого родника, который пополнялся с утра до вечера, растекался по Парижу, по Франции и по всему свету, превращаясь в широкую могучую реку с грозными водоворотами, именовавшуюся богатством Отманов и устрасавшую даже самых высокопоставленных, самых сильных, самых стойких, самых непоколебимых.

Иной раз г-жа Эпсен наблюдала, как широкие ворота распахиваются перед коричневой каретой, запряженной пегими лошадьми; эту карету она узнала бы, даже если б за блестящим стеклом не мелькнул властный, жестокий профиль; при виде этого лица в ней на миг вспыхивало искушение совершить какой-нибудь безумный поступок, но ее тут же удерживали слова пастора Бирка; страх перед тюрьмой и перед тем еще более ужасным, что он не решался назвать. А когда она возвращалась к себе, усталая, измученная, пробродив как можно дольше, чтобы дать время совершиться непредвиденному, — с каким трепещущим сердцем, с какой мучительной тревогой она всякий раз спрашивала привратницу: «Нет ли мне чего, тетушка Бло?..» А что ее ожидало?.. Изредка — холодное письмо от ее «искренне преданной», и никогда, никогда не находила она того, на что надеялась.

Но вот однажды в квартире г-жи Эпсен-раздался шумный, — резкий, знакомый звонок. Несчастную бросило в дрожь. Она, трепеща, отперла дверь. И сразу же ее обхватили ласковые руки. С цветов, украшавших легкую летнюю шляпку, всю запорошенную снегом, на щеки ей брызнули

капли воды... Генриетта Брис!.. Она только что бросила службу-у русского посла в Копенгагене... Люди превосходные, но до чего ограниченные!. «А потом, она так соскучилась по Парижу, хотя ее бывшая настоятельница из монастыря Сердца Христова и писала ей, что Париж для девушки — все равно что бритва в руках двухлетнего младенца...

Генриетта вошла в знакомую ей квартирку и, щебеча, стала располагаться здесь, как у себя дома; по рассеянности и от радости она не заметила печального выражения лица г-жи Эпсен. Вдруг, порывистым, неуклюжим движением обернувшись к ней, она спросила:

— А Лина?.. Где она?.. Она придет скоро?..

В ответ раздались рыдания. Ах, Лина! Лина! Лины нет...

— Уехала... Похищена... Ее отняли у меня... Я одна...

Генриетта поняла не сразу, а поняв, не могла поверить, что Лина, такая благоразумная, такая деловитая, так горячо любившая своих близких... Да, что и говорить, Жанна Отман ловко поработала души... Пока мать рыдала, Генриетта с любопытством рассматривала книжечки с золотым обрезом — коварные соучастницы этого великого злодеяния лежали на столе как вещественные доказательства: «Утренние часы», «Беседы христианской души с богом»... А все-таки это женщина незаурядная. Не будь она протестанткой, ее можно было бы сравнить с Антуанеттой Буриньон.^[20]

— Кто это такая — Буриньон?.. — спросила г-жа Эпсен, утирая слезы.

— Как? Вы не знаете Антуанетты Буриньон? Это пророчица времен госпожи Гион...^[21] Она написала больше двадцати книг...

— Бог с ней... — равнодушно ответила г-жа Эпсен. — Если из-за нее матери тоже проливали слезы, то хорошего в ней было мало, не стоит ее и вспоминать...

Внутренний голос говорил г-же Эпсен, что Генриетта не понимает ее горя и занята совсем другим; от жгучего любопытства трепетали ее губы, блестели светлые глаза и дрожали костлявые пальцы, перебиравшие страницы таинственных книжек.

— Дайте мне, пожалуйста, почитать вот эту! — решила наконец попросить одержимая из обители Сердца Христова. Ей не терпелось прочесть «Беседы», чтобы доказать и опровергнуть их ересь.

— Конечно, берите!.. Возьмите все...

Генриетта с восторгом обняла ее и, прощаясь, оставила свой адрес — Севрская улица, у живописца Маньябоса. Это люди весьма почтенные, и квартал отличный, там несколько монастырей.

— Заходите ко мне... Развлечетесь по крайней мере...

Это посещение, оживившее милые воспоминания о былых спорах, в которых Лина всегда показывала себя такой кроткой, такой разумной, только растравило горе г-жи Эпсен; теперь так всегда бывало в памятные дни, в которые они с Линой прежде радовались или скорбели вместе, — и в сочельник, *Juleaften* нынешнего года, без елки и без *Risengroed*, и в годовщину смерти бабушки, когда она одна совершила печальное паломничество на могилу и еще печальнее вернулась домой. Ведь именно возвратясь с кладбища, Элина поклялась ей в прошлом году, что будет «крепко любить ее и не покинет никогда». И под этим впечатлением г-жа Эпсен написала дочери письмо, полное отчаяния и мольбы:

«Если бы я хоть могла работать, давать уроки, чтобы разогнать тоску, но горе отняло у меня силы, глаза ослабели от слез, после болезни я плохо слышу. Деньги тоже тают, через несколько месяцев от них ничего не останется, и что тогда будет со мной? Дорогая моя крошка! Я на коленях жду тебя. Теперь уже не мать умоляет тебя, а бесконечно несчастная одинокая старуха...»

В ответ на это заклинание пришла открытка со штемпелем Джерсея — простая открытка, которую мог прочитать кто угодно:

«Меня глубоко огорчили, дорогая мама, дурные вести о твоём здоровье, но меня утешает мысль, что эти испытания с каждым днем приближают тебя к богу. Я же всецело занята твоим и моим вечным спасением. Мне необходимо жить вдали от света и остерегаться зла».

Какая чудовищная жестокость — эти евангельские поучения на почтовых открытках! Значит, конец душевной близости, сокровенным признаниям, конец нежданно хлынувшим слезам! Негодяи! Вот что они сделали с ее дочерью! «Мне необходимо остерегаться зла!» Зло — это она, ее родная мать!

«Ну, больше писать не буду... Для меня она утрачена навеки...»

И мать крупным почерком вывела поперек конверта: «Последнее письмо моей дочки».

— Госпожа Эпсен!.. Госпожа Эпсен!..

Кто-то звал ее из сада. Она утерла глаза, шатаясь, подошла к окну и, растворив его, увидела г-на Оссандо — на, который горделиво поднял к ней седую голову.

— В воскресенье я собираюсь произнести проповедь в Оратории... Для вас... Приходите, останетесь довольны...

Он поклонился ей, приподняв крошечную скуфейку, и снова занялся осмотром кустов роз, на которых уже набухли зеленые почки. Видя престарелого декана в саду в сырую, коварную погоду, обычную в начале

марта, легко было догадаться, что г-жи Оссандон нет дома.

XV. В ХРАМЕ ОРАТОРИИ

В ризнице Оратории, где облачаются проповедники, двух тесных комнатах с огромными шкапами, с соломенными стульями, некрашенным столом и фаянсовой печкой, как на таможенной заставе, Оссандон, окруженный пасторами, коллегами по факультету, вполголоса беседует, пожимает протянутые к нему руки. С улицы доносится шум экипажей; слышно, как они останавливаются у двух папертей храма, и рокот этот, подобный шуму прибоя, несется через все двери и разливается по коридорам с темными, потрескавшимися стенами.

На старом декане, готовом взойти на кафедру, черная мантия, белые брыжи; это строгое одеяние уместнее в суде, чем в церкви, но оно вполне подходит протестантскому пастору, которого Реформация считает не кем иным, как адвокатом на службе у господ. Именно такова сегодня роль Оссандона — он адвокат и даже прокурор, ибо заметки, которые он листает, примостившись у столика, представляют собою грозную обвинительную речь против Отманов. Пять месяцев он обдумывал ее и колебался, предвидя неприятные последствия для себя, для своих близких; к тому же Голубка неотступно следила за ним.

Наконец старушку вызвали в Коммантри по случаю рождения внука, а декан, усматривая в этом милость господ к нему, бедному слабому человеку, и уповая на то, что совесть его теперь успокоится, немедленно принялся за дело. Проповедь свою он написал и отделал за два вечера — все эти мысли уже давно роились в его голове, притом столь бурно, что чуть не свели его с ума. Он попросил другого пастора, о предстоящей проповеди которого было уже объявлено, уступить ему очередь, и вот уже неделя, как весь протестантский Париж ждет проповеди знаменитого декана; голос его должен прозвучать в последний раз, как некогда, после многолетнего перерыва, на пострижении мадемуазель де Лавальер^[22] прозвучал голос Боссюэ.

Один за другим подъезжают экипажи, хлопают дверцы, кони бьют копытами землю, сверкают роскошные ливреи, а в коридорах стоит неумолчный гул толпы и дверь ризницы поминутно растворяется, чтобы впустить дьякона, пастора на покое или члена консистории.

— Здравствуйте!.. Мы тоже пришли.

• — Здравствуйте, здравствуйте, господин Арлес!

Я не читал объявления... Какая у вас тема?

— Из Евангелия, текст на сегодняшний день... Нагорная проповедь.

— Вы, вероятно, будете чувствовать себя так, словно вы в Мондартре, среди своих дровосеков?

— Нет, нет... Проповедь рассчитана именно на п. — риж... Мне еще надо сказать кое-что, прежде чем умереть...

Один из коллег Оссандона по богословскому факультету прошептал, уходя: — Будьте осторожны, Оссандон!..

Декан молча покачал головой; он и так уж слишком долго прислушивался к таким советам. Ведь он еще раз побывал в особняке Отманов и просил эту безжалостную женщину только об одном: чтобы она сказала, где находится Лина. Он вызвался сам съездить за несчастной, сбитой с толку девушкой, чтобы вернуть ее нежно любящей матери. Г-жа Отман неизменно отвечала: «Я не знаю, где она... Господь призвал ее...» А когда пастор пригрозил, что в проповеди всенародно обличит ее, она сказала: «Что ж, господин декан, мы придем вас послушать...»

Так ты меня услышишь, подлая! В порыве гнева он ошупью поднимается по темной винтовой лестнице, ведущей на кафедру, открывает дверцу и появляется среди моря света и воздуха, наполняющего огромный неф.

Старинная церковь Оратории, уступленная протестантам по Конкордату,^[23] — самый просторный, самый величественный из парижских храмов. Остальные, в особенности построенные недавно, недостаточно выражают религиозную идею. Аристократический храм на улице Рокепин, весь круглый, с белыми стенами, освещенными сверху, скорее похож на хлебный рынок. Храм св. Андрея — церковь либералов, своими широкими трибунами, поднимающимися амфитеатром, больше напоминает мюзик-холл. Между тем Оратория воплощает и символизирует всю догму Реформации и чистого христианства: здесь не горят свечи, нет икон, на высоких голых стенах одни только мраморные доски с изречениями из псалмов и стихами из Евангелия. Под сводами приделов, почти совершенно закрытых, стоят скамьи, хор упразднен, на месте алтаря высится орган. Вся жизнь храма сосредоточена у кафедры, вокруг длинного стола, который в будни накрыт скатертью, а по воскресеньям, когда бывают причастники, уставлен золочеными корзинами и чашами.

Этим и ограничивается вся церковная утварь. Такая простота, подчеркнутая высотой сводов и таинственностью цветных витражей, становится особенно торжественной, когда храм Оратории, как сегодня, полон народу, когда он черен от толпы, разместившейся на скамьях, переполняющей хоры и неровные ступени лестниц. Над главным входом

сияет витраж с изображением ордена Почетного легиона на широкой пурпурной ленте — память о первом пасторе, награжденном после подписания Конкордата; отсветы витража торжественно расцветивают весь храм, румянят стены, трубы органа и причастные чаши у подножия кафедры, к которой прикованы все взоры.

Стоя в темном углу, еще не видный прихожанам, Ос сан дон старается умерить волнение, от которого тяжело стучит его сердце всякий раз, когда он вступает на кафедру, чтобы отстаивать истину Христову. Как все ораторы и актеры, он наделен способностью различать лица сидящих в зале, поэтому он сразу замечает отсутствие Отмана на скамье членов приходского совета, зато видит прямо перед собою, как живую мишень для его речи, прямую фигуру жены банкира, ее тонкое бледное лицо с властным, магнетическим взглядом, которым она хочет испепелить его. А там, на хорах, согбенная фигура в тяжелой черной вуали — это мать, не преминувшая отозваться на его приглашение и взволнованная, очень, очень взволнованная...

Она знает, что час справедливости наконец пробил, что знаменитый проповедник взошел на кафедру ради нее. Ради нее вся эта толпа богачей, гордецов, эти бесчисленные экипажи, эта величавая музыка, при звуках которой она не может сдержать слезы. Ради нее причетник читает Евангелие, и прекрасные слова касаются ее воспаленных век, словно дуновение свежего ветра... «Блаженны плачущие, ибо они утешатся... Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся...»

О та, та, плачущие!.. О та, алчущие и жаждущие прафты!..

После каждой фразы она пожимает руку Лори — тот сидит рядом с нею, не менее взволнованный. Потом женский хор в сопровождении органа начинает псалом Маро:^[24]

Услышь, господь, мою мольбу,
К тебе взывает голос мой!..

К высоким сводам поднимается скорбный зов таких же свежих, молодых голосов, как голос ее Элины.

Но вот из сумрака выступил Оссандон; бодро неся свои семьдесят пять лет, осанистый, с могучей головой, освещенной отсветом белых брыжей судейской мантии, он громким голосом чеканит стих из Евангелия, который он собирается развить в своей проповеди:

— «Господи, господи, разве не проповедовали мы именем твоим, не

изгоняли бесов именем твоим, не творили чудеса именем твоим?..»

Затем очень просто, понизив тон, как подобает человеку, говорящему вслед за самим богом, начинает свою проповедь:

— Братья! Триста лет тому назад адвокат парижского Парламента, ученый и мудрец Пьер Эро^[25] лишился своего единственного сына, совращенного иезуитами; они заманили его в свой орден и спрятали так далеко, что он уже больше никогда не увидел своих близких. Отчаяние отца было столь глубоко и красноречиво, что король, Парламент, даже сам папа вмешались в дело, чтобы вернуть отцу его сына, однако юношу так и не нашли. Тогда Пьер Эро написал превосходный трактат «Об отцовской власти», но вскоре слег и умер, ибо сердце его было истерзано горем... Три столетия спустя, в наши дни, протестанты, христиане реформатской церкви, совершили столь же гнусное злодеяние...

Тут Оссандон в общих чертах изобразил случившееся: похищение девушки, безысходную скорбь матери Разумеется, мать не сочинила трактата, не докучала ни королям, ни парламентам. Это одна из тех смиренных, о которых говорится в Евангелии; у нее нет ничего, кроме слез, и она проливает их ручьями, без конца, без конца...

Пока что — ни одного намека насчет виновных, ни одного имени. Все пытаются догадаться, все еще сомневаются. Но когда он начинает говорить о бессердечной женщине, которая укрывается за почтенным именем, за колоссальным состоянием, всякому становится ясно, что это прямой выпад против г-жи Отман, а она по-прежнему пристально смотрит на оратора, причем на ее восковом лице не появляется даже краски стыда. А мощный голос Оссандона продолжает греметь и разносится бурными раскатами, как гроза в горах, грохоту которой вторит эхо. Давно уже этот храм, привыкший к закругленным, отшлифованным оборотам обычной церковной речи, не слышал таких смелых и простых слов, не видел перед собою образов природы, наполняющих воздух бальзамическим благоуханием, шорохом нарождающейся листвы, не слышал всего того, что возвращает Священное писание, книгу кочевой жизни и безбрежных просторов, к ее изначальной прелести и великолепию.

Каким уничтожающим презрением клеймит проповедник, не называя ее. Общину дам-евангелисток и прочие подобные учреждения! Он объявляет их наростами на христианском древе, паразитами, которые снедают и душат его! Чтобы древо сохранило свои соки и мощь, надо начисто обрубить эти наросты, и он, престарелый священник, рубит, он со страшной силой нападает на публичные исповеди, мистические и

экстатические представления секты Айсса-уа,^[26] не менее нелепые, но еще более неистовые, чем выходы «Армии спасения», усеявшей Париж огромными плакатами, расставившей по нашим тротуарам одетых в брюки-гольф девушек, которые раздают листовки, ратующие за Христа.

И вдруг, сделав широкий, величественный жест, как бы стремясь выйти за пределы кафедры и самого храма, преодолеть каменные своды и завесу облаков, он восклицает:

— Боже всеблагий! Боже милосердный, праведный, любвеобильный, пастырь человеков и небесных светил, посмотри, как искажают они божественный твой облик! Хотя в своей проповеди с высоты горы ты осудил и проклял лжепророков и торговцев чудесами, они в своей гордыне продолжают именем твоим творить злодеяния. Их ложь окутывает, как марево, свет твоего учения. Вот почему твой старый служитель, обремененный годами и уже отошедший в тень, где подобает сосредоточиться и молчать, сегодня вновь поднялся на кафедру, дабы изобличить эти злодеяния перед христианской совестью и вновь повторить твое проклятие: «Я никогда не знал вас; отойдите от меня, делающие беззаконие».

Слова пастора раздаются в напряженной, сосредоточенной тишине, которая в молитвенном собрании выражает то же, что в другом месте выражают аплодисменты. Всюду влажные взоры, прерывистое дыхание, а там, на хорах, в уголке, закрыв лицо руками, рыдает несчастная мать. На этот раз это слезы умиротворяющие, они # без горечи, они не жгут. Теперь она отомщена, теперь ее не будет мучить мысль, что бог, может быть, на стороне этих злых людей. Нет, нет, праведный бог за нее, он негодует, он повелевает. Элине придется послушаться его и вернуться к матери.

И вот декан, спустившись с кафедры, стоит возле длинного стола, где расставлены чаши с вином и четыре корзинки, полные хлеба. Но, произнося прекрасные и простые слова, предшествующие принятию святых тайн: «Внемлите, братья, тому, как господь наш Иисус Христос установил таинство причащения...», — пастор содрогаются: он замечает, что жена банкира по-прежнему неподвижно сидит на скамье. Что ей здесь надо, гордячке, после всего, что она только что услышала? Почему она не ушла вместе со всеми, когда пастор благословил молящихся и предложил тем, кто не причащается, идти с миром? Неужели у нее достанет дерзости?.. Нарочно для нее подчеркивая слова литургии, он особенно громко произносит:

— «Пусть каждый проверит себя, прежде чем испить от этого вина и вкусить от этого хлеба, ибо кто недостоин вкусить и испить, тот вкусит и

изопьет свое осуждение...»

Она не шелохнулась. Среди длинной вереницы голов, тянущейся до самого входа, Оссандон видит только эту голову, этот загадочный взгляд светлых глаз, настойчиво обращенный на него. В соответствии с литургическим чином он во второй раз медленно, торжественно возглашает:

— «Если есть среди вас такие, которые не прониклись раскаянием и не готовы исправить зло, причиненное ближним, объявляю им, что они должны удалиться от этой трапезы, дабы не осквернить ее».

Все собравшиеся здесь христиане уверены в себе; ни один не дрогнул и не нарушил чинной неподвижности толпы, застывшей в ожидании. Тогда пастор торжественно говорит:

— «Теперь, братья, подходите к трапезе Спасителя».

При могучих, широких звуках органа первые ряды приходят в движение, отделяются от остальных и полукругом становятся около стола. Никакой иерархии — слуга стоит рядом с хозяином, скромные шляпки гувернанток мелькают среди пышных аристократических уборов. Величественное и суровое зрелище, соответствующее голым стенам храма, хлеба, сложенные в корзины, — вся эта простота гораздо ближе к христианской церкви первых веков, чем католические пиршества, которые развертываются на скатертях с вышитыми на них символами.

После краткой мысленной молитвы пастор поднимает голову и видит около себя, справа, г-жу Отман. Ее первую он должен причастить, а между тем ее сжатые губы и бледность ее надменного лица достаточно красноречиво говорят о том, что, подойдя сюда, она не раскаялась, что она бунтует и бросает вызов тому, кто не побоялся всенародно обличить ее. Оссандон тоже очень бледен. Он надломил хлеб и держит его над корзиной, а в это время звуки затихающего органа удаляются, словно волны в час отлива, и дают возможность ясно расслышать священные слова, которые он произносит шепотом:

— «Хлеб, который я надламываю, есть истинное тело господа нашего Иисуса Христа...»

К пастору протягивается чуть дрожащая, тонкая рука без перчатки. Как бы не замечая подошедшую и не взглянув на нее, он тихо-тихо, не шелохнувшись, спрашивает:

— Где Лина?

Молчание.

— Где Лина?.. — повторяет он свой вопрос.

— Не знаю... Господь призвал ее...

Тогда он резко бросает ей:

— Отойдите... Вы не достойны... За трапезой господней вам ничего не уготовано...

Все слышали это восклицание, все поняли его жест. Корзина переходит из рук в руки вокруг стола, а Жанна Отман, слегка растерянная, но гордая и непоколебимая перед лицом этого оскорбления, скользит между рядами и исчезает. И она, конечно, далеко не так удручена, как сам пастор, потрясенный небывалым волнением. У старца едва достаёт сил поднять дрожащими руками чашу, а по окончании таинства, когда со стола уже убрано священное яство, он произносит благодарственную молитву с трудом, прерывающимся голосом, и, давая благословение, его старые руки трепещут.

Обычно после богослужения ризница наполняется друзьями пастора — молодыми людьми, готовящимися к принятию первого причастия, всеми, кто хочет выразить проповеднику свой восторг. Но сегодня в просторном помещении, украшенном портретами и бюстами великих реформаторов церкви, Оссандон одинок. Пробираясь сквозь толпу, он не мог не заметить смущение и укоризну, написанные на всех лицах, и это придавало его одиночеству вполне определенный смысл. Отказ в причастии — дело чрезвычайно важное. Он злоупотребил своим пасторским правом, и такое превышение власти обойдется ему очень дорого. Несколько лет назад, в Лионе, это повлекло за собою закрытие церкви, а пастор был лишен сана... С грустью вспоминая этот случай, декан смотрит на старинную наивную гравюру, висящую на стене ризницы. Художник изобразил пастора в пустыне во времена гонений; вот большая коленопреклоненная толпа — горожане, крестьяне, дети, старики, а сам пастор, в черной мантии, стоит в маленькой крытой тележке, а в глубине ее виднеется стража.

Горный ландшафт, базальтовые утесы среди широколиственных каштанов напоминают ему о том времени, когда он был в Мезенке пастором нищих духом... Ну что ж, пусть его лишат сана, пусть откажут ему даже в скромном приходе в Мондардьё — он будет ютиться в хижинах угольщиков, будет совершать богослужение под открытым небом для стад и пастухов...

Да, но Голубка!..

Он еще не подумал о ней. Голубка вернется через два дня. Какая сцена ему предстоит!.. И вот он, служитель церкви, декан, поборник божьей правды, не утрашившийся ответственности за свой поступок и мести Отманов, уже трепещет, представляя себе гнев этой маленькой женщины, и

заранее сочиняет письмо, которое пошлет ей, чтобы смягчить ее негодование при встрече.

Вокруг него в ризнице кто-то ходит. Церковный сторож с женой убирают священную утварь, наводят порядок в божьем хозяйстве, но с пастором не заговаривают, словно и они боятся себя скомпрометировать. Немилость легче всего почувствовать в обращении нижестоящих... Ну что ж... Он с трудом поднимается, чтобы перейти в гардеробную и перердеться. В пустом храме еще реет гул, оставленный толпой, — так продолжает покачиваться пароход после того, как машина уже остановилась и винт перестал вращаться. Становится сумрачнее, хоры вырисовываются черной полосой; тяжелые ковры, лежавшие между священным столом и скамьей дьяконов, скатаны и уложены. В этой уборке опустевшего храма есть что-то мрачное, как на сцене при опущенном занавесе.

Оссандон быстрым шагом входит в гардеробную и в ужасе останавливается на пороге. Перед ним его жена. Она все видела, все слышала. При звуке отворяющейся двери она устремляется к нему навстречу, выпятив нижнюю губу; шляпка еле держится на ее седеющей голове.

— Голубка!.. — лепечет ошеломленный декан.

Она не дает ему договорить:

— Друг мой!.. Дорогой ты мой!.. Праведник!..

И она со слезами бросается в его объятия.

— Как?.. Ты уже все знаешь?

Знает, знает, и он поступил отлично! Злодейка, ворующая детей, получила по заслугам.

Какою волшебною силой обладают слова и голос! Не чем иным, как своей речью, преобразил он это маленькое существо, всецело занятое материальными заботами, Но с любящим материнским сердцем. Пастору удалось затронуть в ней самые чувствительные струны.

— Голубка!.. Голубка!..

От волнения он не в силах говорить — он окутывает ее складками своей черной мантии и прижимает к сердцу.

Раз Голубка довольна, пускай его лишают сана, пусть ссылают куда хотят. Они с Голубкой снова станут рука об руку взбираться на вершину холма, по-стариковски тяжело, медленно, маленькими шажками, но они будут служить друг другу опорой и обретут силу и удовлетворение в сознании исполненного долга.

XVI. СКАМЕЙКА ГАБРИЭЛЬ

Однажды Лори-Дюфрен гораздо раньше обычного вернулся из министерства и поспешил к г-же Эпсен. Славная женщина была поражена его бледностью и тем, как тщательно он затворил за собою дверь.

— Что случилось?

— Госпожа Эпсен! Вам надо поскорее скрыться, уехать... Вас собираются арестовать.

Она смотрела на него в недоумении.

— Меня?.. Арестовать? За что?..

Лори заговорил тише, словно сам ужасался словам, которые должен был произнести:

— Слабоумие... изоляция... принудительное лечение.

— Меня? Изолировать?.. Но я в здравом уме...

— Фальконе выдал свидетельство... Я видел собственными глазами...

— Какое свидетельство?.. Какой Фальконе?..

— Фальконе, психиатр... Вы недавно обедали с ним.

— Я? Обедала с психиатром?.. — Она было запнулась, но у нее тут же вырвался крик: -Боже мой!..

Да, это было у Бирка. За обедом какой-то пожилой, чрезвычайно вежливый господин с орденом упорно вызывал ее на разговор о г-же Отман и об отваре чилибухи. Негодяй Бирк! Так вот оно, таинственное и страшное нечто, которым он грозил ей!.. Попасть в сумасшедший дом, оказаться за решеткой, подобно мужу той женщины в Пти-Поре!.. Ее внезапно охватил непреодолимый ужас, и она задрожала, как ребенок:

— Друг мой, друг мой!.. Защитите меня, не покидайте меня!..

Лори успокаивал ее, как мог. Конечно, он ее не оставит и прежде всего увезет отсюда и спрячет у их знакомой. Он имел в виду Генриетту Брис; она хоть и свихнулась, но все же девушка очень услужливая. Только бы она еще не уехала из Парижа!.. Пока он посылал за извозчиком, г-жа Эпсен металась, словно на пожаре, когда все красно от пламени и в окнах лопаются стекла; она вынула из шкафа кое-какие вещи, собрала немного денег, захватила портрет Элины и ее письма. Она задышалась и не могла произнести ни слова. Ужас ее еще усилился, когда тетушка Бло, сбегавшая за извозчиком, стала рассказывать, как утром к ней явился незнакомец и начал ее расспрашивать о квартирантке — когда она уходит из дому, когда возвращается... Лори перебил ее:

— Если этот человек придет опять, скажите ему, что госпожа Эпсен ненадолго уехала...

— Так и скажу...

Заметив волнение квартирантки, заметив лежавший на полу кое-как связанный узел, старуха спросила шепотом:

— За дочкой отправляетесь?

Лори охотно подхватил это объяснение, утвердительно кивнул головой и приложил к губам палец. На улице» из опасения, как бы их не выследили (ему, как бывшему супрефекту, были хорошо известны полицейские приемы), он громко крикнул кучеру:

— На Восточный вокзал!

А кучер и не думал торопиться перед дальней поездкой; он удобно устроился, вооружился кнутом, не обращая ни малейшего внимания на г-жу Эпсен, которая сидела, забившись в угол, с узлом на коленях; Лори, не менее взволнованный, уселся против нее.

Для беспокойства у него были особые причины. Утром, когда он большими портновскими ножницами вырезал из газет статьи и заметки, касавшиеся министра, его вызвали к Шемино. Ни один департамент Министерства внутренних дел и никакое другое министерство по сложности работы не может сравниться с сыскным отделением. Вот где необходима подробнейшая классификация, всевозможные картотеки с самыми разнообразными рубриками... Поддержание порядка во время богослужений... Наблюдение за иностранцами... Уголовный розыск... Выдача разрешений на граверные работы... Собрания... Общества... Эмигранты... Жандармерия... Вероятно, именно общению с жандармами Шемино был обязан тем, что облик его разительно изменился: теперь он говорил отрывисто, усы у него торчали вверх, глаз не расставался с моноклем. Лори-Дюфрен был совершенно ошеломлен происшедшей переменой; теперь его копия уже совсем не походила на оригинал.

— Плохи дела, любезный... — сказал ему начальник отдела; половина слов прилипла у него к помаде, которой были нафабрены его усы. — Да, да, знаете ли, скандал в Оратории. А вас видели с этой полоумной...

Лори стал было защищать свою старую приятельницу и доказывать, что она жертва вопиющей несправедливости... Начальник оборвал его:

— Полоумная, сумасшедшая... и к тому же опасная... Медицинское свидетельство... Засадить ее в Внль-Эврар, да покрепче... А Оссандон окончательно впал в детство, в ближайшие дни в «Правительственном вестнике» будет объявлено о его увольнении. Что же касается вас, любезный, то не будь мы с вами так давно знакомы...

Несколько смягчившись при этом воспоминании, Шемино вплотную подошел к своему бывшему сослуживцу и, пристально смотря ему в глаза, стал шепотом его распекать. Ну не глупо ли это? Нападать на самое незыблемое, на самое недостижимое, на самое безупречное, что есть в Париже: на богачей Отманов!.. И ведь кто нападает — то? Лори, чудом уцелевший «Шестнадцатого мая», человек, который из-за своего прошлого должен соблюдать особую осторожность... Неужто ему мало урока, который он уже получил, неужто ему так хочется опять подышать с голоду со своей ребятней?.. Уцелевший «Шестнадцатого мая» бледнел при каждом слове начальника. Ему уже представлялось, как он за гроши переписывает пьесы, и он немного успокоился лишь после того, как начальник сыскного отделения, отпуская его, холодно и резко бросил ему напоследок:

— Если будете дурить, я откажусь от вас!..

Во время долгого пути с улицы Валь-де-Грас до дома Генриетты на Севрской улице, с заездом на Восточный вокзал, Лори подробно описал г-же Эпсен эту сцену. Обновленный Шемино произвел на него столь сильное впечатление, что он невольно воспроизводил все его слова, подражал его резкому, хриплому голосу. Он не пригрозил г-же Эпсен: «Я от вас откажусь», — зато повторил слова Шемино о том, что люди эти слишком могущественные, что «дурить» не следует. Бедняжка и не собиралась «дурить», она была сражена, подавлена и вся трепетала от страшной мысли попасть в сумасшедший дом.

Они приехали к Генриетте уже в сумерках, поднялись по лестнице неказистого дома, со стертými ступеньками, со всевозможными запахами, среди которых ясно различались запах горячего теста, исходивший из пекарни, и запах клея и краски, который вырывался из помещения на третьем этаже, где на двери красовалась дощечка с надписью:

МАНЬЯБОС. ЖИВОПИСЕЦ

Им отворила моложавая женщина в большом фартуке, как у школьницы; лоб у нее был обвязан прохладительным компрессом, в руках она держала палитру и кисточки для волочения.

— Вы к мадемуазель Брис?.. Это здесь... Подождите немного, она пошла за обедом.

Переднюю освещала полоска света, пробивавшегося через приотворенную дверь из длинной, узкой мастерской, где виднелись сотни церковных статуэток, сверкавших позолотой и яркой росписью. Рядом с мастерской находилась комната Генриетты; она не запиралась, и гостям предложили войти. Беспорядок, который царил здесь: неубранная постель, заваленная газетами, посуда, стоявшая на столе без скатерти рядом с

чернильницей, листки, исписанные неровным почерком с множеством клякс, четки с крупными зернами, висевшие над статуэткой Иоанна Крестителя с белым ягненком на плечах, густая пыль, которую, по-видимому, никогда не стирали, — все это красноречиво говорило о жизни причудливой и бестолковой, занесенной в эту каморку с окном, в узкий, как колодец, двор, который только по вечерам освещался ярким светом из подвала пекарни. Окно каморки упиралось в мрачную стену, до которой было рукой подать; плесень и трещины сверху донизу, вдоль и поперек испещрили ее аккуратными иероглифами, и их легко было расшифровать: болезнь, нищета... болезнь, нищета... нищета и болезнь.

— Это вы?.. Как это мило с вашей стороны!..

Генриетта вернулась с хлебом и кастрюлей с кушаньем, которое пекарь по ее просьбе ставил в свою печь. Как только ей рассказали о событиях, она охотно предложила г-же Эпсен свою комнату, кровать... Сама она устроится на диване, скажет, что к ней приехала тетя из Христиании.

— Вот увидите, как здесь хорошо, до чего Маньябосы славные люди... Муж неверующий, но человек большого ума, с огоньком... Мы с ним часто спорим... И, к счастью, нет детей...

Она как попало запихала вещи г-жи Эпсен в одни из ящичков комода; потом зажгла маленькую керосиновую лампу и поставила на стол, заваленный бумагами, второй оловянный прибор и тарелку в щербинах. Лори вскоре ушел, и они вдвоем сели за обед. Г-жа Эпсен несколько успокоилась, почувствовав себя в безопасности, а Генриетта продолжала болтать, возбужденная не столько событиями, сколько парижским воздухом, чересчур резким и мудреным для ее бедной, слабой головы.

А бедного Лори Париж теперь пугал. Ему еще никогда не приходилось видеть подноготную города, всю подлость, которая открылась ему сегодня, и, когда он после обеда медленно шел по улице Валь-де-Грас, ему казалось, что земля под его ногами дрожит. Значит, то, о чем иной раз доводится читать в книгах, правда? Ведь он отлично знает, что г-жа Эпсен в здравом уме. Неужели действительно решатся принудительно поместить ее в сумасшедший дом, или ее только запугивают, чтобы она не шумела?.. На крыльце кто-то его дожидался. Он подумал, что это вчерашний незнакомец, и еще издали испуганно спросил:

— Кто тут?..

В ответ послышался голос Ромена, глухой, тихий, тоскливый... Ромен в Париже, в такой час!.. Что еще стряслось?.. А вот что.

Утром смотритель шлюза получил уведомление, что за нерадивость его увольняют; он помчался в Управление мостов и дорог, думая, что

произошла ошибка, однако никакого разъяснения не добился. Нерадивость да и только. На его место назначен Баракен. Нечего сказать, нашли служаку!.. Лори уже готов был произнести имя Отманов, но Ромен избавил его от этого труда:

— Все это, знаете ли, Отманы... Паршивые людишки, хуже артиллеристов!..

Оказывается, последнее время между замком и шлюзом началась настоящая война. Дошло до того, что отрок Николай, гоняясь за Морисом, забрался на вражескую территорию, но получил от Сильваниры такую трепку, что целую неделю не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Следствием потасовки явился протокол, составленный полевым сторожем, и повестка в Корбейский суд. Все это, однако, никак не доказывало нерадивости зрителя, но его огорчала не столько потеря должности, сколько мысль, что теперь не придется уже «быть вместе». Дети возвратятся к отцу, а вместе с ними уедет и Сильванира. Он знал, что так будет, он заранее готовил себя к этому, и все-таки... Послышался бой часов на колокольне св. Иакова. Ромен боялся опоздать на поезд, а потому распрощался, вытирая мокрые глаза, и по обыкновению присовокупил:

— Разрази меня гром, господин Лори!..

Жизнь г-жи Эпсен у Маньябосов текла уныло и одиноко. Генриетта бегала по монастырям, по церквям и страшно волновалась из-за пресловутых декретов насчет конгрегаций,^[27] которые в скором времени должны были претвориться в жизнь. Несчастливая мать не решалась выходить из дому и поневоле томилась в комнатке, которую ей при всем желании никак не удавалось привести в приличный вид, так как ее непоседливая сожительница раз по десять в день врывалась в каморку и вновь уносилась, как ураган. Какая разница по сравнению с уютной квартиркой на улице Валь-де-Грас! Единственное развлечение — расшифровывать иероглифы на стене: болезнь, нищета — или посидеть часок в мастерской соседа.

Маньябос, родом из Арьежа, был тучный, коренастый, бородатый мужчина, на вид от тридцати пяти до пятидесяти лет; веки у него были, как у лягушки, говорил он густым раскатистым басом и на всевозможных собраниях слыл знаменитостью. Он частенько выступал в зале на Арасской улице, но особенно понаторел в произнесении надгробных речей. Ни одни мало-мальски значительные гражданские похороны не обходились без его надгробного слова. А так как подобного рода церемонии происходили, по его мнению, слишком редко, он примкнул к одной из масонских лож и к обществу неверующих; и тут и там он держался настороже, внимательно

следил за людьми престарелыми, за больными и, подобно тому как снимают мерку для соснового гроба, заблаговременно снимал с них мерку для надгробной речи, причем точно знал, какой материал может дать тот или иной покойник для соответствующего панегирика. Потом, воткнув в петлицу цветок бессмертника и повязавшись крест-накрест широкой синей лентой, которая побывала на множестве похорон и вся полиняла на ветру, от дождя, от солнца, Маньябос, дородный, важный, взбирался на холмик и что-то произносил. Не бог вещь что, а все-таки произносил.

Постепенно это все больше и больше принимало жреческий характер. Речь его стала елейной, торжественной, в жестах появилась властность. Будучи врагом священников, он сам превращался в священника, в жреца безбожия, который тщательно соблюдает атеистические обряды и обычаи и получает вознаграждение в виде обильных поминок за счет родственников или в виде возмещения путевых расходов, ибо Маньябос не отказывался съездить для произнесения надгробного слова хотя бы и в Пуасси, и в Май г, и в Верной. О, если бы безбожники знали истинное ремесло своего жреца, если бы они знали, что он занимается раскрашиванием церковных эмблем и бесчисленных статуэток из папье-маше, которыми полны витрины торговцев церковной утварью на улицах Бонапарта и Сен-Сюльписа! Что ж поделаешь, жить-то надо! Вдобавок сам Маньябос уделял мало внимания этим, как он выражался, «побрякушкам». Настоящим мастером была жена Маньябоса, не хуже его владевшая искусством подбирать краски и золотить.

Типичная парижская работница, с красивым, но поблекшим от ночной работы и постоянной мигрени лицом, г-жа Маньябос с трудом переносила запах смолы и ядовитых красок, которыми ей приходилось пользоваться. И все-таки она с утра до вечера, а то и до поздней ночи просиживала перед вереницей мадонн и святых, которые прибывали к ней с безжизненным взором и белыми губами, такими же, как их волосы и одежда, а она наделяла их небесно-голубыми глазами, разноцветными туниками, золотыми нимбами над деревянными венцами и усеивала их одеяния звездным дождем. Г-жа Эпсен нередко усаживалась рядом с нею; ей нравилось наблюдать, как та раскрашивает фигурки, как вырезает полоски сусального золота для украшений, как легкой рукой приклеивает на фигурки, покрытые смолой и лаком, всевозможные эмблемы.

Проворно работая, г-жа Маньябос рассказывала б последней речи мужа на похоронах какого-нибудь «брата», об его успехе, об отзывах газет. И ведь он всегда такой добрый, всегда в хорошем настроении и всем доволен, даже если на иных важных похоронах и перехватит лишнего.

Право же, другой такой счастливой женщины... Славная труженица говорила это, а сама прикладывала левую руку к голове, зажмурившись от боли, и продолжала расцвечивать тиару св. Амвросия. Другой такой счастливой женщины не сыскать!

Недоставало ей только ребенка — не мальчика, потому что мальчики в конце концов всегда уходят из дому, а дочери, кудрявой, как Иоанн Богослов; она назвала бы ее Мальтидой и весь день держала при себе в мастерской, а то она подчас чувствует себя немного одинокой. Ну, да ничего не поделаешь! В самой благополучной семье всегда бывает какой-нибудь изъян.

— А у вас, госпожа Эпсен, не было детей?.. — спросила она однажды у мнимой тетушки.

— Как же!.. — еле слышно ответила та.

— Дочь?

Не получив ответа, она обернулась и увидела, что бедная женщина рыдает, закрыв лицо руками.

«Так вот почему она такая печальная!.. Вот почему она никогда не выходит из дому...»

Она решила, что дочь соседки умерла, и с этого дня никогда уже больше не заговаривала о своей крошке «Мальтиде».

С наступлением сумерек возвращалась Генриетта Брис, а иногда и Маньябос, если была срочная работа и не было какого-нибудь собрания. Через всю мастерскую от докрасна раскаленной, гудящей печки тянулась коленчатая железная труба; хотя холода уже миновали, печку все равно приходилось топить, чтобы краски подсыхали скорее. Толстяк усаживался возле жены, и они вместе раскрашивали фигурки; волосы его лоснились от помады, черная-пречерная борода стелилась по длинной серой блузе, и он набирался истинно жреческого величия — ни дать ни взять поп. Но при всей своей торжественности и важности Маньябос не прочь был пошутить. «Подди-ка сюда, приятель, сейчас я налеплю тебе венчик!»- обращался он к какому-нибудь епископу, снабженному посохом, и с комически важным видом ставил его перед собой. Эта неизменная шутка вызывала неизменный взрыв хохота у его жены и неизменный возглас. Генриетты: «Ах, господин Маньябос!..» И тут загорался спор.

Глубокий бас надгробного оратора и тоненький задиристый голосок бывшей послушницы то усиливались, то затихали, то прерывали друг друга. Из высоких окон мастерской, обращенных на людную улицу со сновавшими по ней омнибусами и ломовиками, словно из раскрашенных окон часовни, летели слова: «Вечность... Материя... Суеверие...

Сенсуализм...»-и в тоне споривших слышались протяжные нотки напыщенной проповеди. Оба они — и безбожник и верующая — прибегали к одному и тому же словарю, оба цитировали отцов церкви и энциклопедию. Однако Маньябос не выходил из себя, как Генриетта. Он торжественно отрицал бытие божие, не переставая покрывать охрой бороду св. Иосифа или косы св. Перпетуи — до тех пор, пока на широкой кисти не иссякала наконец краска.

Лори-Дюфрен иногда вносил в спор примиряющую нотку. Недавно изучив основы протестантизма, он находился под свежим впечатлением и выражал свое мнение сдержанно, как и полагается чиновнику, с оттенком снисхождения, которое вместо того, чтобы успокаивать спорящих, только еще больше их ожесточало.

Сидя в темном углу, чтобы не видели ее слез, молчаливая и неподвижная, как шеренги маленьких покорных святых, выстроившиеся на белом фоне стены, г-жа Эпсен с грустью думала о том, как мало значит различие вероисповеданий, коль скоро ими всеми люди пользуются и для добрых и для дурных дел! И, словно в кошмаре, до нее доносился громopodobный голос Маньябоса, вещавший о том, что пробил вождеденный час и всякие привилегии отжили свой век.

Маньябос заблуждался. На месте старых привилегий остается одна, стоящая всех вместе взятых, — тирания, вознесшаяся выше законов и революций, обратившая себе на пользу все, что было разрушено вокруг нее, а именно деньги, единственная мощная сила нового времени, все уравнивающая без усилия, без труда. Без малейшего труда! И несчастная мать, вынужденная скрываться, словно преступница, и отрешенный от должности престарелый декан, и честный Ромен, с позором изгнанный со шлюза, — все они даже не подозревали о том, до какой степени сами Отманы не причастны к их невгодам. Все это сделалось без их участия, в гораздо более низких сферах, естественной силою вещей — могуществом денег, всеобщим преклонением перед идолом. И пока эти подлые и жестокие несправедливости творились их именем, сами Отманы продолжали мирно жить, окруженные почетом — жена в Пор-Сovere, где она наслаждалась первыми погожими днями, а банкир — за решетчатым окошком, у прозрачного вечно журчащего, неиссякаемого источника, поддерживающего уровень в великой золотой реке.

Ежедневно в пять часов карета Отманов приезжает за ним и мчит его к жене. Отъезд совершается с такой пунктуальностью, что служащие проверяют по нему свои часы, и тут лица их, насупленные в присутствии хозяина, сразу проясняются. Велико же было их изумление, когда однажды

в июне он ушел из конторы, как только подписал трехчасовые чеки; при этом он сказал конторщикам:

— Я буду наверху... Когда Пьер запряжет, пусть мне доложат...

— Вы больны, господин Отман?

Нет, господин Отман болен не больше, чем всегда. Ощупывая, нервно расчесывая лишай на щеке, он медленно поднимается по широкой лестнице, и гулкое, точно в церкви, эхо вторит его шаркающим, усталым шагам; затем он входит в квартиру, которая кажется еще просторнее и торжественнее благодаря закрытым ставням и отсутствию ковров и штор, проходит через приемную в молитвенный зал, где скамьи сложены друг на друга у стен, испещренных текстами из Библии, потом идет через кабинет с аккуратно расставленными в шкафах зелеными папками, потом через пышную гостиную с мебелью в стиле ампир, в чехлах, напоминающих платья того времени, и, наконец, останавливается перед высокой дверью, украшенной резным карнизом.

Спальня его жены!..

Уже четыре года эта дверь для него закрыта и счастье недоступно. Сначала еще соблюдалась проформа, придумывались предлоги — усталость, нездоровье, предлоги, к которым прибегают женщины в таких случаях; затем последовал отказ без всяких объяснений, дверь заперли на засовы, весьма прочные в этих старинных стенах. Отман не возражал — он не хотел принуждать жену. Но сколько раз он дрожал от холода в этой гостиной, как в коридорах Сен-Совера, прислушиваясь к ровному, безмятежному дыханию своей Жанны! Он думал: «Ей стало неважно... Я ей противен... Это — отвращение...» Он снова, как в молодости, попытался лечиться, а так как страшный наследственный недуг не поддавался никаким лекарствам, то он попробовал обратиться к хирургам. Операции тоже не помогли. После удаления, после очистки опухоль становилась с каждым разом еще отвратительнее, расплзалась по всей щеке, как огромный багровый паук. Отман, доведенный до отчаяния, решил презреть любовь, в которой ему отказывали, и погрузиться в разврат.

Когда среди проституток высшего полета разнесся слух, что богач Отман вышел на охоту, началась загонка дичи, как в королевском заповеднике. Но у этого робкого поклонника целомудренной женщины недоставало опыта в распутстве. Первую, которую к нему привели, восемнадцатилетнюю, цветущую и упругую, как зрелый плод, при виде человека, которого ей надо было любить, охватил такой ужас, что она закрыла лицо руками. «Боюсь, боюсь...» — шептала она, дрожа. Ему стало жаль этой рабыни, этого белого тела, выставленного для всех желающих:

«Одевайся... Деньги получишь и так...» Другая обняла его и осыпала страстными ласками. Эту он готов был убить... Решительно для него на свете существует одна-единственная женщина — его жена. Но она отвергает его. Вот почему он решил умереть.

Да, он решил искать избавления в смерти — в этом последнем пристанище всех обездоленных. Притом в смерти неистовой, жестокой, мстительной, в самоубийстве, которое совершается в порыве гнева, когда кровавые останки того, что было человеком, обагрят тротуар и стены домов, железные ограды возле памятников, когда с воплем и проклятиями исторгается жизнь, отравленная жесточайшими горестями и неизлечимыми недугами. Он избрал именно такую смерть. Он покончит с собою сегодня вечером, там, около нее. Но прежде ему захотелось еще раз — в последний раз — увидеть эту спальню.

Просторная комната, заботливо обтянутая бледно-серым шелком с еле заметными переливами, с панелями, обрамленными золоченым багетом. Целомудрие женщины, которая живет здесь, угадывается в чистоте этой обивки, этой полированной мебели того же сизого цвета и такой же свежей, как в день свадьбы, одиннадцать лет тому назад... Бедный Отман, человек без имени, которого никто, даже родная мать никогда не называла просто Луи, бедный богач Отман, бедный урод! Распростершись на широком ложе любви, которое становится для него теперь смертным одром, он старается заглушить безумные вопли страсти и отчаяния, кусает подушку, рвет плотный полог. Видя, что он рыдает, как ребенок, кто поверил бы, что минуту спустя лакей застанет его в приемной перед клеткой с попугаем <- в перчатках, холодного и корректного?

Каждый год эта клетка вместе с птицей совершала путешествие в Пор-Совер, к великому негодованию Анны де Бейль, которую старый крючконосый нечестивец приводил в ярость тем, что оглашал благословенные кущи зовом: «Моисей! Моисей!..» А на этот раз — умышленно или случайно — попугая забыли, и вот он в глубине клетке лежит с повисшей головой, со скрюченными, окоченевшими лапками, перед разбитым зеркальцем, где отражаются пустая кормушка и ванночка без воды. Больше некому теперь звать Моисея, в доме ренегата не осталось уже ничего израильского. Отман на минуту задерживается возле птицы, потом равнодушно отходит от клетки и сухо бросает кучеру, взглянув на часы:

— Я тороплюсь, Пьер...

Карета несется, мчится по улицам, набережным, по унылому предместью Иври, черному от расположенных здесь складов угля, от лачуг

рабочих, от тяжелого фабричного дыма. Квартал нищеты и мятежей, где в дверцы редких экипажей швыряют комьями грязи и навоза... Но карете банкира, хорошо знакомой населению Иври, ибо давно уже он ездит этой дорогой, ничто не угрожает: окошки в ней затворены, занавески опущены, как в будочке прокаженного, даже когда она мчится среди огородов и нив по волнистым долинам, позлащенным жарким июньским солнцем. Так и путешествует этот богач; он выходит из темницы лишь после того, как перед ним распахнутся ворота Пор-Совера; тут он может свободно вдохнуть медвяный запах павловний, реющий над сонным покоем парка.

— Где госпожа Отман?.. — спрашивает он.

Горделивая лошадь с лоснящейся шерстью храпит и фыркает, покусывая покрытую пеной узду.

— В парке... На скамье Габриэль...

Полукруглая замшелая скамья, опирающаяся на двойные перила лестницы, примостилась тут, словно гнездо в ветвях старой липы. В былое время в такие вечера, как сегодня, когда воздух напоен теплым благоуханием и жужжанием пчел, красавица Габриэль шептала здесь слова любви и томно вздыхала, напевая галантную песенку. А для Жанны Отман это место служит всего лишь наблюдательным пунктом. Если она не в Обители, то она здесь; беседуя с богом, она одновременно следит из-за кустов за тем, как идут хозяйственные дела, смотрит на безупречно ровные линии буковых аллей, на цветущие клумбы, на парники, стеклянные крыши которых сверкают вдоль железной дороги. Слугам это известно, так что, когда «барыня сидит под деревом», весь замок приобретает еще более подтянутый, более строгий вид, чем обычно.

— Душа, желающая слиться с богом, должна забыть все брренное, отречься от всех земных привязанностей...

Поднимаясь по высоким, закругляющимся ступеням лестницы, банкир слышит холодный голос своей жены. В ответ ей раздаются рыдания Ватсон. Бедная Ватсон вернулась из поездки взволнованная, измученная, как никогда, и воспоминание об оставленных ею детях терзает ее, не дает ей покоя. Жанна возмущается и бранит ее, слезы матери ничуть ее не трогают, ибо ей-то Христос «даровал силу».

— Здравствуйте... — говорит она Отману и спешит подставить ему лоб для поцелуя, чтобы вернуться к разговору с Ватсон.

Но он твердо заявляет:

— Мне надо поговорить с вами, Жанна...

По его горящему взгляду, по нервному движению, каким он стиснул ей руку, она поняла, что настал час объяснения, которое так долго

откладывалось.

— Ступай, дочь моя... — велит она Ватсон.

И вот она ждет с удрученным видом, с жестким выражением лица, какое бывает у женщины, которая не любит и знает, что сейчас ей будут говорить о любви.

Отман сел рядом с ней и тихо начал:

— Зачем вы вырываете руку, Жанна? Зачем отнимать то, что было вами дано?.. Нет, нет, вы отлично понимаете. Не смотрите на меня так, глаза ваши лгут... Вы принадлежали мне, почему же вы теперь отвергаете меня?

Потом, торопливо и пылко, он старается разъяснить ей, что она значит в его жизни. Болезненное, одинокое детство, безрадостная юность, когда он боялся показаться на людях... В часы любви и обладания — страшная мысль, что ты отвратительное насекомое, которому приходится убегать под камни из боязни быть раздавленным. И вот наконец пришла она, и вокруг нее разлился такой свет, что он почувствовал себя возрожденным, воскресшим. Даже муки любви, когда он наблюдал, как она в парке беседует с Деборой, даже ужас при мысли, что она ни за что не согласится принадлежать ему, — и тот был ему сладостен, потому что был связан с нею.

— Помнишь, Жанна, как моя мать приехала от моего имени просить твоей руки?.. Дожидаясь ее возвращения, я весь день провел здесь, на этой скамье. О, я ждал терпеливо и очень спокойно! Я думал: если она откажет, я умру... Я знал, как это осуществить, все уже было приготовлено.... Так вот, взгляни на меня. Ты знаешь, это не пустые слова... Вот я пред тобою такой же, как одиннадцать лет тому назад, все с таким же твердым намерением в случае твоего отказа умереть; час и место мною уже выбраны... я жду твоего слова.

Она знает, что он человек искренний и серьезный, и поэтому остерегается произнести «нет», которое, однако, ему легко прочесть в ее глазах, в том, как инстинктивно сжалось все ее существо. Она осторожно пытается пробудить в нем христианские чувства, умиротворяющую веру, напомнить заповедь божью, которая запрещает нам покушаться на свою жизнь.

— Бог!.. Да ведь мой бог — это ты!..

И не столько слова, сколько его поцелуи страстно лепечут:

— Бог — это твои губы, твое дыхание, твои руки, обнимавшие меня, и обнаженное плечо, на котором я засыпал... В том храме, куда ты ввела меня, в банке, над цифрами, которые жгут мне глаза, я думаю только о тебе.

Тобою питалось мое упорство в работе и жар моих молитв; Теперь ты отходишь от меня./ Как же мне верить? Как же мне жить?..

Она вздрагивает от негодования, что в ее присутствии можно так богохульствовать. Щеки ее покрываются румянцем, вспыхивают от праведного гнева, который дозволяется писанием: «Гневайтесь и не грешите».

— Довольно, ни слова больше!.. Я думала, что вы поняли меня... Бог и моя Миссия!.. Все остальное для меня не существует...

Как она хороша сейчас, когда вся трепещет, она, обычно не теряющая хладнокровия! Ее черные растрепавшиеся волосы усеяны бледными лепестками цветущей липы! Он с минуту всматривается в нее, пронзает жгучим, насмешливым взглядом, сверкающим из-под повязки. Действительно ли препятствием является бог?.. Или его отталкивающее безобразие?.. Как бы то ни было, он достаточно хорошо знает Жанну: ее решение бесповоротно.

— Я так и думал, — говорит он, вставая, и принимает обычный тон, холодный, положительный, тон деловых разговоров, — я так и думал, что обращаться к тебе бесполезно, но мне не хотелось, чтобы между нами было что-то недоговорено.

Он делает несколько шагов, потом останавливается.

— Значит, никакой надежды? — Никакой.

Куда он идет?.. Он смотрит на часы и поспешно направляется к дому, словно боится опоздать на свидание... Ну и пусть идет! Бог карает за бунтарство... Уже не думая о нем, она молится, чтобы умерить внутреннюю дрожь, чтобы стереть скверну, которую оставило в ее душе это грубое напоминание о земных страстях. Она молится и успокаивается, а между тем сгущаются сумерки и в ветвях шуршат первые прохладные дуновения; пролетают большие ночные бабочки и, заменяя дневных, садятся на клумбы с геранью, краски которой постепенно блекнут, теряются в пока еще безлунной ночи. Теперь видны только рельсы железной дороги, прямые и блестящие под рокошущим сверканием двух огненных шаров, показавшихся за изгибом Сены.

Вечерний курьерский!..

Он проносится, подобно молнии и грому. А Жанне он напоминает, что пора обедать. Она шепчет последние слова молитвы, медленно сходит по ступеням и смотрит, как поезд исчезает во тьме. Но она далека от мысли, что он оставил ее вдовой.

Его обнаружил в тот же вечер беглый ищущий свет фонарей в промежутке между встречными поездами. Шляпа его, трость и перчатки

были заботливо сложены на балюстраде террасы. Поезд далеко протащил искромсанное тело и разбросал куски по обеим сторонам полотна. Только голова осталась нетронутой, но повязку сорвало, и еще виднее стал страшный отвратительный лишай — паук с длинными цепкими лапами, по-прежнему живой, по-прежнему впившийся в свою жертву.

XVII. БУДЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА... НЕ РАССТАНЕМСЯ НИКОГДА...

Г-жа Эпсен стала понемногу успокаиваться, выходить из дому... Супруги д'Арло вернулись в Париж и смогут защитить ее, если ее действительно вздумают упрятать в сумасшедший дом. Ей надо только вести себя как можно тише, потому что страшное несчастье, случившееся с банкиром, мужественное, достойное поведение его вдовы, ее умение вести дела банка не хуже свекрови, старухи Отман, — все это, вместе взятое, расположило общественное мнение в ее пользу. К тому же несчастная мать и сама присмирела, обузданная страхом и ожиданием с проблесками надежды, которое длилось уже несколько месяцев; она могла бы сказать, как покорная судьбе крестьянка: «Тут уж ничего не поделаешь...»

Она еще не решалась вернуться на улицу Валь-де — Грас и жила теперь одна в комнате Генриетты, ибо нужда заставила девушку отправиться в Подольскую губернию. У г-жи Эпсен тоже иссякли средства, и ей пришлось снова заняться уроками. Днем это отвлекало ее от печальных мыслей, зато томительными вечерами она жалела, что нет ее шумной сожительницы, особенно после того как заболел Маньябос. Надгробный оратор простудился на последних похоронах, болезнь затянулась, и его бил кашель, от приступов которого сотрясались шеренги фигурок, расставленных на столах. Ему было запрещено говорить, и г-же Маньябос, не перестававшей раскрашивать статуэтки, приходилось мириться с дурным настроением больного; он из себя вон выходил при мысли, что «братья» умирают и хоронят друг друга без его участия.

Предоставленная своему горю, г-жа Эпсен проводила дни в мрачной каморке у стены, которая все больше покрывалась трещинами, и мысль о дочери, с новой силой завладевшая ею с тех пор, как она перестала опасаться сумасшедшего дома, не давала ей покоя: «Где она? Что с нею?» Не получая больше писем, она перечитывала старые, беспощадно холодные, в том числе открытку, на которой она собственной рукой написала: «Последнее письмо моей дочки». Теперь она удовольствовалась бы и таким письмом, даже одной строкой, одним словом: Элина.

Недоставало ей и Лори, которого несколько дней тому назад вызвали в Амбуаз по делу о наследстве Гайетонов: они умерли в течение двух недель один за другим. В его отсутствие г-жа Эпсен украдкой забегала к тетушке

Бло узнать, нет ли новостей. Но она не решалась войти в свою квартиру, не решалась поцеловать Мориса и Фанни, которые остались в Париже под присмотром Сильваниры. Она все еще боялась, что где-то притаились люди, готовые схватить ее, и от страха она раз десять оборачивалась на пустынной улице.

Однажды, когда она приотворила дверь с неизменным грустным вопросом:

— Мне ничего нет, тетушка Бло?

Привратница бросилась к ней сама не своя:

— Есть!.. Есть!.. Ваша дочь наверху... Только что приехала...

Откуда взялись у нее силы взобраться по лестнице, повернуть ключ, оставленный в двери, дотащить до гостиной?..

— Дитя мое!.. Деточка моя!..

Она крепко обняла дочь и тихо заплакала, а Элина была холодна и бледна. Какой она казалась худенькой в черной соломенной шляпке, в невзрачном развевающемся плаще!

— Славная моя крошка! Лина! — шептала мать, чуть отстранившись, чтобы получше рассмотреть ее. — Да они мне ее подменили!

Снова обвив ее шею руками, рыдая и тяжело дыша, как утопающий, который рвется к воздуху и жизни, она лепетала:

— Больше не уходи, хорошо?.. Мне было так тяжело!..

Не отпуская ее, чтобы лаской смягчить свои упреки, она рассказывала о своем безысходном горе, об отчаянных поисках и о том, как ее собирались засадить в дом для умалишенных.

— Перестань, перестань!.. — говорила Элина. — Бог благословил меня вернуться. Возблагодарим его и не будем роптать...

— Да, ты права...

Теперь, когда дочь вернулась, она готова была все забыть. Если бы даже в эту минуту вошел подлец Бирк, она поцеловала бы этого бородатого Иуду... Подумать только! Элина с ней, при ней, она слышит ее шаги в ожившей квартире, все ставни раскрыты настежь. Ходить следом за ней из комнаты в комнату, помогать ей открывать саквояжи и шкафы и расставлять по местам вещи, сидеть за наскоро приготовленным обедом, обмениваясь, как некогда, рукопожатиями и взглядами, тянуться к ней через стол и обнимать ее! Какая обида, какой гнев устоят перед таким блаженством!

Из сада, позлащенного лучами прекрасного заката, доносился смех детей Лори-они играли и взапуски разоряли клумбы и грядки, с тех пор как на заколоченном флигеле пастора появилось большое объявление: «Сдается внаем». Но Элина не думала о них, она даже не отличала их крики от

чириканыя воробьев, которые перелетали с ветки на ветку, а г-жа Эпсен, не зная ее дальнейших намерений, не решалась заговорить о прошлом, боялась испугнуть, разбить это хрупкое и упоительное счастье. Такой восторг иной раз испытываешь в волшебном сне.

Разговор коснулся декана. Бедняга! Как ему, вероятно, тяжело было расстаться с этим безмятежным уголком, с садом, который он посадил собственными руками, с дорогими его сердцу махровыми розами и старой вишней, с которой он благоговейно снимал несколько кисленьких ягод — подлинно парижских вишен, покрытых такой густой черной пылью, что их приходилось мыть и перетирать, прежде чем подать к столу. Г-жа Эпсен представляла себе, как престарелые супруги уезжают вслед за своей мебелью, так же одряхлевшей и так же мечтающей о покое, как и ее хозяева; она представляла себе, как старики приютились в провинции, у женатых сыновей, в ожидании скромного прихода и в ожидании многих лишений, которые неизбежны на первых порах. И все это из-за нее, все это в наказание за то, что он один во всем Париже осмелился поднять голос против бессердечия и несправедливости.

— Ах, Линетта, слышала бы ты его проповедь!.. Как это было прекрасно! Как будто слышался голос самого бога! Ты бы, негодница, сразу вернулась домой...

Боясь рассердить дочь, она схватила ее руку и поцеловала ее над столом.

— Ты понимаешь?.. Я шучу!..

Элина молчала; она слушала рассеянно, погруженная в свои мысли, и ее изможденное лицо подергивалось усталой, страдальческой гримаской. Мать думала: «Это она после дороги...»-и все же, несмотря на молчаливость дочери, настойчиво расспрашивала ее, все хотела узнать, откуда она приехала, но та отвечала туманно и неохотно... В Цюрихе она месяц проболела... В Манчестере ей удалось сделать много добра... Время от времени она роняла фразу из Библии, какое-нибудь благочестивое назидание: «Пострадаем, мама, вместе со Христом и удостоимся царствия небесного». А мать снова думала: «Славная моя крошка! Лина! Они мне ее подменили...»

Но главное, что дочь опять дома, что она тут, рядом, в своей комнатке. Она рано ушла к себе, сославшись на усталость, а г-жа Эпсен долго еще хлопотала; ей хотелось как можно скорее все восстановить, вернуться к привычкам, которые так давно были нарушены, но она то и дело переставала суетиться и предавалась упоительному чувству вновь обретенного покоя и довольства после стольких дней, проведенных в

отчаянии и одиночестве.

Улица спала. Из-за деревьев сада долетал бой часов на колокольне св. Иакова, а из танцевальной залы Бюлье доносились прерывистые звуки скрипок. У Элины все затихло. Но свет еще горел. «Забыла, должно быть, погасить...»- подумала г-жа Эпсен и тихонько вошла к дочери. Девушка стояла на коленях на полу, голова ее была откинута назад, напряженные руки молитвенно простерты. При стуке отворившейся двери она сказала, не оборачиваясь, резким тоном:

— Мама! Оставь меня наедине с господом...

Мать бросилась к ней в безумном порыве, обняла:

— Нет, нет, не надо, дитя мое!.. Не сердись!.. Неужели ты опять уйдешь?..

И вдруг, разжав объятия, она грузно опустилась на колени:

— Хочешь, будем вместе молиться?.. Говори! Я стану повторять за тобою...

Когда солнце заливает дом, его хватает на все этажи. Неужели это относится и к счастью? Два дня спустя после возвращения Элины от Лори пришло письмо, в котором он сообщал, что получает наследство своих родственников Гайетонов. Капитал их был помещен в пожизненную ренту, но остался дом, который он рассчитывает продать; достанется ему и виноградник с хутором, где он думает поместить детей, Ромена и Сильваниру. Оттуда он и пишет — из комнаты страдальцы жены, из комнаты с видом на огромную башню замка. Морис будет учиться в Амбуазе и готовиться к поступлению в Морское училище. Бедный мальчик, жертва призвания!.. Покончив с этими новостями, Лори-Дюфрен робко добавлял в постскриптуме:

«Вы вновь обрели свою дочь. Думаю, что если бы из этой огромной радости выпало что-нибудь и на мою долю, то Вы об этом написали бы. Но мне хочется, чтобы Вы знали и передали ей, что в моем сердце ничего не изменилось и что у детей по-прежнему нет матери».

Вот ответ г-жи Эпсен во всем трогательном простодушии и со всеми его иностранными оборотами:

«Лори, друг мой! Это моя дочь, и это больше не моя дочь. Она ласковая и послушная, на все согласная, но она холодная, чужая, в ней что-то разбито. Понимаете, с сердцем у нее плохо. Иногда я ее обнимаю, прижимая к себе, чтобы ее согреть. Я ей кричу: «У меня ты одна на свете, дорогая моя девочка!.. А что это такое жизнь, если не любить друг друга?» Она мне не отвечает ничего или говорит, что нужно любить друг друга во Христе и заботиться лишь о спасении души. Она только этим и занята, у

нас все время в том и проходит, что мы молимся и читаем душеспасительные книги.

В первые дни она повидалась со всеми нашими друзьями, всюду бывала, а теперь никуда не ходит и даже не думает давать уроки. Я не знаю, что она собирается делать, и пока работаю за двоих. И буду работать, сколько она пожелает: с тех пор как она вернулась, мне снова двадцать лет... Насчет Вас дело тоже обстоит нехорошо. Когда я получила Ваше письмо, я привела к ней Фанни, которую она еще не видела. Я надеялась, что при виде прелестной девочки, ее милого личика и шелковистых волос, которые она так любила расчесывать, ее сердце будет тронут. Так вот нет же, она ее приняла как чужую, равнодушно поцеловала, как целует меня, и пока она говорила ей о боге, о том, что бедной крошке надо читать Евангелие, бедняжка только дрожала и прижималась ко мне...

И все же я не теряю надежды вылечить дочь от этой страшной болезни — равнодушия ко всему; все это исправит время и ласка. Вот, например, сегодня я всю ночь втихомолку плакала, ведь тяжело заживо хоронить свое дитя. Мне послышалось, будто кто-то стонет. Я встала, бросилась к Лине; она лежала в темноте, но не спала. «Что с тобой, дорогая?» «Ничего, решительно ничего...» Однако, целуя ее, я почувствовала, что ее щеки мокры от слез.

Ах, друг мой, можно ли представить себе что-нибудь печальнее, чем мать и дочь, которые молча плачут в ночной тьме?.. Как-никак, она плакала; может быть, в ней оживает сердце? А если она вернет мне свое сердце, то вернет его и Вам и Вашим детям...»

Было 15 июля; прошло три недели с того дня, как Элина возвратилась к матери. Г-жа Эпсен отправилась попрощаться с последней своей ученицей, еще остававшейся в городе, и по пути зашла к Маньябосам, чтобы узнать, как они поживают.

— Плохо, совсем плохо... — прохрипел похоронный оратор, полулежа в кресле. У него совсем пропал голос. Потом он с трудом повернулся к жене, безмолвно орошавшей слезами синюю рясу св. Ригобера: — Главное, прошу тебя: никаких речей над моей могилой... Не желаю... Никто из них двух слов связать не умеет.

Потом, вдохновившись при воспоминании о национальном празднике, отмечавшемся накануне, он продолжал:

— Ну что, госпожа Эпсен, видели?.. Какое великолепие!.. Вдоволь песен попели!.. До чего было весело!

— Да, я издали слышала, но видеть мы ничего не видели... Лина не захотела выйти из дому.

Маньябос возмутился:

— Не захотела выйти из дому! А ведь это наш праздник, праздник простых людей, народа, это конец всякому суеверию и привилегиям... Сколько горело фонариков! Сколько фонариков! Ах, черт побери!..

— Друг мой!.. Друг мой!.. — успокаивала его бедная г-жа Маньябос, опасаясь за его последнее легкое.

И она умоляющим взглядом намекнула гостю, что лучше бы ей уйти.

Г-жа Эпсен возвращалась домой по улицам, еще увешанным флагами, эмблемами, пышными гирляндами, но все это намочил проливной дождь.

Вид ли умирающего так на нее подействовал или горе его славной жены, тяжелый, влажный воздух или печаль, которая всегда чувствуется на другой день после праздника, но только г-жу Эпсен охватила тоска, и она с трудом передвигала усталые ноги. Люксембургский сад, через который лежал ее путь, показался ей необъятным и мрачным: эстрады опустели, на почерневших мачтах, напоминавших виселицы, болтались поникшие трехцветные жирандоли с погасшими масляными плашками. Большие оранжевые бумажные фонари валялись под обгорелыми деревьями на земле, где еще не улеглась пыль от вчерашней пляски. Г-жа Эпсен спешила; ей не терпелось уйти из унылого сада, вернуться домой, прижаться к своей дочери.

— Лина!.. Лина!..

Дверь в комнату Элины была заперта на ключ и отворилась не сразу; девушка стояла посреди комнаты, совсем одетая, в шляпке с широкой черной лентой, завязанной у подбородка, благодаря которой она казалась бледнее обычного. Возле нее, на стуле, стоял саквояж, лежали мелкие приготовленные для отъезда вещи.

— Элина!.. Что такое?..

— Господь призывает меня, мама... Я иду к нему.

На этот раз у матери не вырвалось ни единого крика, она не пролила ни единой слезы. Ей стала понятна гнусная комедия: чтобы опровергнуть обвинения, выдвинутые стариком Оссандоном, девушку на время отпустили домой, она должна была всюду побывать, всех навестить, доказав тем самым, что она вполне свободна, что никто ее не держит и не принуждает. А потом, когда создастся соответствующее впечатление, — в дорогу, даже если мать и поплатится за это жизнью!..

Это уже чересчур!

— Ну что ж, ступай... У меня больше нет дочери...

Она произнесла это глухим, сдавленным голосом. Обе женщины замерли; они ждали, когда подадут извозчика, молча, не глядя друг на

друга...

Это длилось вечность, это длилось мгновение, это было неизмеримо, как последняя предсмертная минута.

— Прощай, мама!.. Я тебе напишу... — сказала Лина.

— Прощай... — ответила мать.

Они машинально склонились друг к другу, и поцелуй их был холодным и жестким, как могильная плита. Но от этого краткого прикосновения кровь заволновалась, подняла голос, и где-то в глубине существа Элины, в глубине того, что еще оставалось от ее прежней дочери, мать услышала сдержанное рыдание.

— Так оставайся же!..

И она распахнула объятия. Но Элина в ужасе, хриплым голосом ответила:

— Нет, нет, ради твоего спасения, ради моего... Разлука мучительна, но я тебя спасаю...

...Г-жа Эпсен, замерев на месте, слышит с лестницы удаляющиеся легкие шаги.

Дочь не выглянула из окошка кареты, мать не приподняла занавески, чтобы обменяться последним «прости». Карета тронулась и, завернув за угол, затерялась в грохоте Парижа, среди множества других экипажей.

Больше они не увиделись... Ни разу в жизни.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

то есть шестнадцатого мая 1877 года-в день государственного переворота, совершенного президентом Мак-Магоном. Поскольку на выборах в Палату депутатов большинство получили республиканцы, Мак-Магон, представлявший реакционные монархические и клерикальные круги, распустил кабинет министров, а затем и Палату и постарался всюду посадить угодных ему чиновников. Однако и на следующих выборах большинство получили республиканцы; Мак-Магон вынужден был капитулировать и 30 января 1879 года вышел в отставку;

2

Сочельник (датск.).

3

Рисовой каши (датск.).

Дидон, Филипп-Виктор (1806–1839) — французский проповедник и религиозный писатель, автор назидательных популярно-богословских книг.

Луи Вейо (1813–1883) — французский публицист и журналист, ярый защитник католицизма, редактор католического журнала «Юнивер».

Женульи, Шарль-Ригоде (1807–1893) — в 60-е годы командующий французским средиземноморским флотом, в последние годы империи — морской министр.

Пиетизм (от латинского «pietas» — благочестие) — возникшее в конце XVII века направление в немецком протестантизме. Пиетисты выдвигали на первый план эмоциональную сторону религии и «практическое» благочестие, выражавшееся в отказе от светских удовольствий, в обращении «неверных» и т. п.

Абеляр, Пьер (1079–1142) — французский богослов и философ-схоласт. Каноник Фюльбер поручил ему воспитание своей юной племянницы Элоизы (1101–1164). Молодые люди полюбили друг друга и тайно вступили в брак. Разгневанный Фюльбер с сообщниками вероломно напал на Абеляра и оскотил его, после чего супруги приняли монашество (1119 г.). С этого времени начинается их переписка на латинском языке, в которой проявления искреннего чувства перемежаются с рассуждениями в духе схоластической учености.

Нантский эдикт — изданный 13 апреля 1598 года указ Генриха IV, уравнивавший в правах протестантов с католиками. Был отменен 18 октября 1685 года Людовиком XIV, вновь начавшим преследование протестантов.

Габриель д'Эстре (1573–1599) — фаворитка Генриха IV.

Моравские братья — религиозная секта, возникшая в Чехии в 1450 году; ведет свое происхождение от гуситов. Идеи моравских братьев во многом предвосхитили протестантизм Лютера. С 1620 года их общины рассеялись по всему миру.

Гернгутеры — религиозная община, основанная моравскими братьями в 1722 году в Саксонии.

Ниеска — колония гернгутеров в Силезии.

Блаженство, великое блаженство (англ.).

Д-р Джон Чепмен. История христианских Ревивалей. Лондон, 1660.
(Прим. автора.).

Миссис Троллоп. Американские нравы. (прим. автора).

Канова, Антонио (1757–1822) — скульптор, крупнейший представитель итальянского классицизма. Его «Магдалина» стоит на коленях и держит крест, который она созерцает, запрокинув голову.

Джон Митчел (1815–1875) — ирландский политический деятель, борец за независимость Ирландии; был сыном пресвитерианского пастора.

Анна Редклиф (1764–1823) — английская писательница, создательница жанра «романа ужасов».

Антуанетта Буриньон (1616–1680) — французская «ясновидящая», «пророческие» сочинения которой отличались крайней вздорностью.

Г-жа Гион, Жанна-Мари (1648–1717) — французская мистическая писательница, выдававшая себя за «ясновидящую» и резко нападавшая с точки зрения своего мистического учения на официальную церковь. В последующее время ее «труды» были использованы разного рода сектантами.

Луиза-Франсуаза Лавальер (1644–1710), первая фаворитка Людовика XIV, после охлаждения к ней короля ушла в 1674 году в монастырь кармелиток и через год приняла постриг.

Конкордат — соглашение о положении церкви во Франции, заключенное Наполеоном I с папой Пием VII в 1801 году.

Маро, Клеман (1496–1544) — французский поэт, один из создателей французского литературного языка. В 1541 году перевел в стихах тридцать псалмов из Псалтыря.

Пьер Эро (1536–1601) — французский юрист. Доде точно передает его историю.

Айсса-уа — мусульманская секта, возникшая в конце XVI века и распространенная в Северной Африке; сектанты доводят себя до исступления бешеными танцами и прыжками.

Имеются в виду постановления французского правительства (1880 г.) о закрытии многих монастырей.